

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Весенние грозы



Дмитрий Мамин-Сибиряк

Весенние грозы

«Public Domain»

1893

Мамин-Сибиряк Д. Н.

Весенние грозы / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain»,
1893

«День выдался серенький и дождливый, какие бывают в начале августа, когда еще не успела установиться настоящая крепкая осень. Губернский город Шервож совершенно потонул в грязи, особенно его окраины, где тянулись рядами такие низенькие домишки. Самым грязным местом во всем городе был так называемый Черный рынок. От Черного рынка тянулась самая грязная улица, Веселая, которая заканчивалась городским предместьем, Теребиловкой. Недалеко от Черного рынка на Веселой стоял низенький деревянный домик в три окна, на воротах которого была прибита жестянка с надписью: „Дом канцелярского служителя Петра Афонасыча Клепикова“. В ненастную погоду этот деревянный домик как-то чернел, делался ниже и вообще терял всякую привлекательность. Маленькие окна потели, а в низеньких комнатках водворялся какой-то томительный полусвет. Именно сегодня был такой день, и именно сегодня в домике Клепикова было особенно уныло...»

© Мамин-Сибиряк Д. Н., 1893

© Public Domain, 1893

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	9
III	13
IV	17
V	21
VI	27
VII	32
IX	36
X	39
XI	43
XII	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Весенние грозы

Часть первая

I

День выдался серенький и дождливый, какие бывают в начале августа, когда еще не успела установиться настоящая крепкая осень. Губернский город Шервож совершенно потонул в грязи, особенно его окраины, где тянулись рядами такие низенькие домишки. Самым грязным местом во всем городе был так называемый Черный рынок. От Черного рынка тянулась самая грязная улица, Веселая, которая заканчивалась городским предместьем, Теребиловкой. Недалеко от Черного рынка на Веселой стоял низенький деревянный домик в три окна, на воротах которого была прибита жестянка с надписью: «Дом канцелярского служителя Петра Афонасыча Клепикова». В ненастную погоду этот деревянный домик как-то чернел, делался ниже и вообще терял всякую привлекательность. Маленькие окна потели, а в низеньких комнатах водворялся какой-то томительный полусвет. Именно сегодня был такой день, и именно сегодня в домике Клепикова было особенно уныло.

В окне этого домика целое утро мелькало бледное личико восьмилетней девочки Кати. Белокурая головка то и дело лънула к стеклам и заглядывала в тот конец Веселой улицы, откуда должна была вернуться мать.

– Мама ушла на экзамен... – повторяла девочка маленькому трехлетнему братишке, цеплявшемуся за её ситцевое платье. – Мама скоро придет, Петушок. И Сережа придет вместе с мамон...

Петушок из этих объяснений понимал только одно, именно, что мама ушла, следовательно, он имеет полное право капризничать. Его пухлая рожица уже несколько раз настраивалась самым кислым образом и готова была огласить скромное жилище благим матом. Восьмилетняя Катя всеми правдами и неправдами старалась предупредить грозившую катастрофу, потому что вернется мама с экзамена, и ей будет неприятно видеть Петушка с опухшими от слез глазами. Сознание своей ответственности придавало Кате необыкновенно серьезный вид, и она говорила с Петушком, поддельваясь к тону матери – полушутливо и полусерьезно.

– Мама скоро придет... – в сотый раз повторяла девочка, перебегая от окна к ребенку. – Папа на службе, а мама на экзамен ушла.

– Мма-а... – вытягивал Петушок одну жалобную ноту, как готовый закипеть самовар.

Девочка щебетала с братишкой, как птица. Она рассказывала ему сказки, три раза спела тоненьким голоском песенку про козлика, который жил у бабушки «вот как», показывала зайчика из пальцев и т. д. Упрямый Петушок хныкал, куксился и кончил тем, что, наконец, разревелся. Катя в отчаянии принялась таскать его на руках по комнате, невольно сгибаясь под этой непосильной тяжестью, целовала его и, наконец, обратилась к последнему средству, которое изобрела сама: посадив Петушка на диван, она начинала снимать с него сапожки и чулки, а потом снова надевала их. Эта невинная проделка успокаивала ребенка и даже смешила, когда она брала его за голенькие ножки. Так было и теперь. Маленький плакса улыбался, а вместе с ним смеялось и другое детское личико, полное недетской тревоги и заботы. Её красило именно сознание своей ответственности и чувство того смутного материнства, которое у девочек скрыто в каждой кукле.

– Ах, как долго!.. – вырвалось, наконец, у Кати, когда ей надоело подбегать к окну, – ей самой хотелось заплакать.

Но в момент такого изнеможения хлопнула калитка, чьи-то ноги быстро вбежали на крыльцо, а затем распахнулась дверь, и в комнату ворвался мальчик лет десяти. Он вбежал прямо в калошах и в фуражке, повторяя одно слово:

– Поступил... поступил... поступил!..

– Сережка, да ты и то с ума сошел, сними калоши-то! – послышался в передней ворчливый женский голос.

В другой раз Сереже сильно досталось бы за его вольнодумство, но теперь он не обращал никакого внимания на слова матери и продолжал бегать по комнате в калошах. Марфа Даниловна слишком была счастлива, чтобы учинить немедленную расправу с вольнодумцем. Она прошла прямо к переднему углу, положила перед иконой три земных поклона и начала молиться. Дети инстинктивно притихли, чувствуя, что совершается что-то необыкновенное. Сережа стоял посреди комнаты в своих калошах и не знал, что ему делать – молиться или снимать калоши. Катя торопливо крестилась, строго глядя на брата. Петушок уцепился за мать и недоумевал, следует ему зареветь или не следует.

– Слава богу! – вслух проговорила Марфа Даниловна, кончив молитву.

Оглянувшись, она увидела что Катя спряталась за диваном и горько плакала.

– Ты это о чем, дурочка? – ласково спросила Марфа Даниловна.

– Мама, я так... – бормотала девочка, стараясь улыбнуться сквозь слезы. – Мне так хорошо...

Катя не умела объяснить, что она сейчас чувствовала, но это не мешало ей понимать всю торжественность происходившего. Марфа Даниловна молча обняла дочь и молча поцеловала её в голову, что случалось с ней очень редко, – она держала детей строго и не любила нежности. Сейчас мать и дочь понимали друг друга, как взрослые люди.

– У меня будет синий мундир с серебряными пуговицами, – хвастался Сережа, размахивая руками. – И кепка, и шинель... да.

Мальчик прищелкнул языком, а потом показал его сестре самым обидным образом.

– Сережка, ты, кажется, последнего ума решился? – окрикнула Марфа Даниловна и прибавила ласково – устала я до смерти, Катя... беги в кухню, поставь самоварчик.

Поступление Сережи в гимназию для семьи Клепиковых было настоящим праздником. Марфа Даниловна даже позабыла переменить парадное шерстяное платье на ситцевое, как это случалось только в пасху или рождество. Маленькой Кате именно так и казалось, что у них большой праздник, нет, больше – теперь всё будет другое.

Чай прошел самым веселым образом и тоже по-праздничному. Обыкновенно Марфа Даниловна выпивала свои две чашки урывками, между делом, а теперь сидела и разговаривала. У ней явилась потребность выговориться. Душа была слишком полна. В обыкновенное время она редко разговаривала с Катей, а теперь говорила с ней, как с большой. Дорогой в гимназию она начерпала грязи в калошу – это хороший знак. Сережа струсил, а в приемной чуть не подрался с чиновничьим сыном Печаткиным – тоже мать привела на экзамен. Ничего, славная такая женщина, разговорчивая. Сейчас с швейцаром познакомилась и шепнула потихоньку, что гимназисты зовут; старика-директора генералом «Не-мне», – всё-то она знает, эта Печаткина. Обо всем успели переговорить, пока дожидались очереди, да еще принесло тут жену управляющего контрольной палатой m-me Гавлич. Вся в шелку, так и шуршит... Сунула швейцару целый рубль, ну, её не в очередь и пустили. Богатые-то всегда впереди... А Печаткина, надо полагать, такая же голь перекатная, как и мы, грешные. Потом поповича привели, по фамилии Кубов – попик такой бедненький, боязливый, всем кланяется. А попович бойкий и всё кулаки показывал Сереже.

– Это всё будут Сережины товарищи, – любовно заметила Марфа Даниловна, с некоторой гордостью поглядывая на своего любимца. – В гимназию только поступить, а там все равны – и богатые и бедные. Нужно только учиться... Ну, Печаткина-то – её Анной Николаевной звать – первая проскользнула к директору, а мне пришлось еще подождать. Уж так это тяжело ждать, Катя!.. Потом выходит Анна Николаевна, веселая такая, а у самой на глазах слезы – и смеется и плачет от радости, что определила своего-то оболтуса. Ну, потом уж мы с Сережей пошли... Не помню, как и в кабинет вошла. Директор седой такой, лицо сердитое и голос сердитый, а глаза добрые. Увидел Сережу и говорит: «Ну, бутуз, что ты мне принес?» А Сережа...

– Мама, я не струсил... – хвастался Сережа, припадая всем лицом к блюдечку с горячим чаем. – Даже нисколько не струсил!

– Не ври... – остановила Марфа Даниловна. – Еще как струсил-то, Катя. Ну, да ничего, всё сошло благополучно... Директор похвалил за молитвы.

Маленькая Катя слушала эти разговоры с раскрытым ртом, боясь проронить хоть одно слово. Лицо у мамы сегодня такое доброе... Марфе Даниловне было за тридцать. Это была высокая женщина того крепкого, худощавого склада, который не знает износу. Длинное и неправильное лицо сохраняло еще следы недавней свежести, но было сдержанно и строго, как у всех людей, выдавших и нужду, и заботу, и неустанный труд. Темные брови и гладко зачесанные темные волосы придавали ей немного монашеский вид, особенно когда она покрывала голову темной шалью. От волнения и выпитого чая лицо Марфы Даниловны разгорелось, и она казалась маленькой Кате такой красивой.

– И мы, мама, тоже будем богатыми? – неожиданно спросила девочка.

– То-есть, как это: богатые?

– А как же? Ты сама сказала, что только поступить в гимназию, а там все равны...

– Какие ты глупости болтаешь, Катя!..

– Мама, а я сегодня похожу в этой курточке? – вмешался Сережа, занятый своими мыслями.

– Как хочешь... Теперь уж всё равно: надо будет заводить форму, а твоя курточка пойдет Петушку.

Не допив чаю, Сережа без шапки бросился прямо на улицу, чтобы сообщить новость своим уличным приятелям. Это были соседи, дети сапожника – Пашка и Колька. Весной они вместе играли в бабки, летом бегали купаться, осенью спускали змейки, а зимой катались на коньках. Сережа, торопливо глотая слова, рассказал приятелям о своем поступлении в гимназию и, конечно, не преминул похвастаться тем, что у него будет «кепка» и синий мундир с серебряными пуговицами. Чумазые и взъерошенные сапожничьи дети отнеслись к этой новости довольно скептически, потом переглянулись и хихикнули самым обидным образом.

– С светлыми пуговицами, говоришь? – ехидно переспросил Колька, засовывая озябшие руки под рубаху и поскакивая с ноги на ногу. – И кепка?

– Настоящий курячий исправник будешь... – прибавил задорный Пашка, первый забияка и драчун.

– Ну, ты не больно... – обиделся Сережа.

– Чего не больно-то?.. Ты тоже не задавай... – начал задорить Пашка, вставая в первую позицию. – Колачивали мы со светлыми-то пуговицами, только стружки летят... На льду всегда драчишки бывают, так я каждый раз всю харю с пуговицами-то раскровяню.

Сережа был сегодня слишком счастлив, и эти капли холодной соды вывели его из себя. «Курячий исправник», «не задавай», «всю харю с пуговицами раскровяню» – это хоть кого выведет из себя. Слово за слово, произошла легкая размолвка, а потом началась и настоящая драка. В азарте Сережа не сообразил, что он один, и потерпел быстрое и жестокое поражение. Он не успел мигнуть, как уже лежал на земле, а сапожничьи дети сидели на нем верхом и

обрабатывали его кулаками с большой ловкостью. Затем друзья улизнули, а Сережа вернулся домой в разорванной курточке и с подбитым глазом.

– Теперь уж тебе нужно бросить эти глупости, – повторяла Марфа Даниловна. – Ну, какие тебе товарищи Пашка и Колька? Теперь ты гимназист... У тебя будут другие товарищи...

Будущий гимназист имел самый жалкий, растерзанный вид и горько плакал, вытирая глаза кулаком. Кате часто приходилось терпеть от него разные неприятности, но в данном случае она отнеслась к постигшему несчастью очень сочувственно.

– Не плачь, Сережа...

Сережа зло посмотрел на неё и показал кулак.

II

Глупая драка Сережи с уличными мальчишками взволновала Марфу Даниловну, да и вообще сегодня у неё всё как-то валилось из рук. Кухарки Клепиковы не держали, и Марфа Даниловна всё делала по дому сама. Сегодня она и печку затопила позже, чем следовало, и вчерашние щи пересолила, и старый заслуженный горшок разбила. Кухня помешалась внизу и выходила двумя маленькими оконцами на двор. В ней было и низко и темно, но Марфа Даниловна как-то раньше этого не замечала, а теперь несколько раз стукнула концом ухвата в шкафчик с посудой, уронила лукошко с мукой и, наконец, рассердилась.

– Никак ослепла от радости... – ворчала она.

Эти маленькие неудачи, какими разрешается иногда слишком большое счастье, были забыты с приходом главы дома, Петра Афонасьевича. Он приходил ровно в три часа. Это был среднего роста некрасивый, плечистый господин, с некрасивым лицом и добрыми серыми глазами. Форменный вицмундир, сооруженный хозяйственным способом дома, всегда сидел на нём мешком, точно с чужого плеча. На локтях и по швам вицмундир всегда лоснился, точно его кто облизал... Несмотря на свои сорок лет, Петр Афонасьевич ходил немного сторбившись и вечно потирал свои большие холодные руки, точно ему постоянно было холодно. Из детей он больше других любил Катю, и девочка первая всегда его встречала.

– Поступил... папочка, поступил!.. – кричала Катя, встречая отца по обыкновению в передней. – А Сережу сапожничьи дети отколотили, папа... Сели на него верхом и колотят. Я пожалела Сережу, а он мне кулак показал...

– Так, так... – ласково повторял Петр Афонасьевич, бережно устанавливая новые резиновые калоши в уголочек. – Так... Отменно. Кто же кого колотил: директор Сережу или Сережа директора?

– Ах, какой ты, папа: это сапожниковы дети...

– Директора?

– Да нет, говорят тебе...

Катя сердилась и тащила отца за одну руку, а Петушок повис на другой. Петр Афонасьевич улыбался такой хорошей доброй улыбкой. Поправив на вешалке свое форменное осеннее пальто, он спросил:

– А где у нас мать?

Он знал, что жена в кухне, но всегда задавал этот вопрос. Сережа спрятался в свою комнату и вышел только к обеду.

За обедом Марфа Даниловна рассказала еще раз всё, что видела, слышала и пережила сегодня, припоминая разные подробности, и по несколько раз повторяла одно и то же. Катя помогала ей, напоминая порядок, в котором следовали события. Много места было отведено новому знакомству с Печаткиной.

– Она славная такая, эта Анна Николаевна, – повторяла Марфа Даниловна. – Сама подошла ко мне. Я-то в простой наколке была, как мешаночка, а она и в мантилье и в шляпе. Положим, шляпка не важная, а всё-таки настоящая дама...

– Печаткин в земстве служит? Да, встречал... Такой бойкий. Так, так... А тебя вздули, Сережка? – обратился он к сыну.

– Они меня, папа, курячьим исправником зовут... – слезливо ответил Сережа. – Я Пашку сам вздую... Их было двое, а я один.

– Ну, если двое, так бог тебя простит. Так, так... Значит, курячий исправник? Ах, разбойники...

Серьезная Марфа Даниловна тоже не могла удержаться от смеха, хотя и закусывала губы, чтобы не расхохотаться. Катя и Петушок заливались до слез, потому что смеялись большие, и перестали только тогда, когда мать остановила их строгим взглядом.

– Ну, что же делать: за битого двух небитых дают, – шутил Петр Афонасьевич, глядя Сережу по голове. – Вот теперь мы тебя в гимназию определили, а даст бог, и Катю отдадим учиться. Хочешь, Катя, в гимназию?

– Только, папа, в женскую.

– Ага... А я хотел тебя в мужскую отдать. Не хочешь?

После обеда Петр Афонасьевич прилег по обычаю соснуть, а проснувшись, не пошел на службу.

– Не пойду, и всё тут, – спорил он с неизвестным противником. – Бывает и свинье праздник... Скажу, что зубы болели. За тридцать-то пять целковых жалованья можно и побаловаться один-то раз.

– Как знаешь, – согласилась Марфа Даниловна.

Петр Афонасьевич облекся в пестрый татарский халат и, попыхивая папиросой, расхаживал по своим комнатам. Он сегодня с особенным удовольствием оглядывал и маленькую гостиную с кисейными занавесками, и кабинет, и комнату, где жил Сережа. Всё было не богато, но прилично. Каждая вещь приобреталась здесь годами. Сначала задумывали что-нибудь купить, потом приценивались, потом сколачивали по копейкам необходимую сумму, и потом уже в доме появлялась новинка. Так были приобретены пестрый диван для гостиной, шкаф для чайной посуды, письменный стол и т. д. Тут подумаешь, когда приходится с семьей жить на 35 рублей жалованья. В кабинете на стене у печки висело одноствольное тульское ружье, а рядом старенькая гитара. Из кабинета маленькая дверка вела в полутемную каморку, где хранилась всевозможная рыболовная снасть. Всё лето по ночам Петр Афонасьевич проводил на рыбной ловле, что доставляло ему некоторый заработок, а зимой заготавливал крючья, лесы, самоловы, поплавки и сети. Он всё делал сам и любил свое «апостольское ремесло».

К вечернему чаю прибрел дядя Марфы Даниловны, старик Яков Семеныч. Это был николаевский служака, имевший пряжку за беспорочную тридцатипятилетнюю службу. Он летом вместе с Петром Афонасьевичем уезжал на рыбную ловлю, а по зимам приходил поболтать всё о том же. Присядет к печке, заложит ногу на ногу, закурит свою коротенькую трубочку-носогрейку и без конца ведет тихую степенную речь о разных разностях. Старик любил политику по старой памяти, а Петр Афонасьевич приносил с почты газеты. Сейчас Марфа Даниловна была, пожалуй, и не рада старику, потому что он был против поступления Сережи в гимназию. У Марфы Даниловны даже вышло несколько схваток из-за образования детей, хотя Яков Семеныч и не отрицал необходимости образования вообще. Но как-то выходило так, что, пожалуй, можно и без образования, – не всем же ученым на свете жить.

– Хорошо ему так-то говорить, когда одной ногой в гробу стоит... – ворчала Марфа Даниловна. – А молодым ведь жить-то придется... Не прежняя пора, когда и без образования молено было перебиться.

Старик пришел, снял свою заношенную шинель в передней, прокашлялся и занял свое место за чайным столом.

– А мы, дядя, в гимназию с Сережкой поступили, – весело объяснял Петр Афонасьевич, подмигивая.

– Что же, дело хорошее... – уклончиво ответил старик.

– Уж, конечно, хорошее... – задорно вмешалась Марфа Даниловна. – Нынче без образования человеку вся цена расколотый грош. Мы-то свое прожили, а у детей впереди всё... Трудненько, конечно, нам будет первое время, ну, бог даст, справимся...

– Да, надо в гимназии восемь лет вытянуть... – говорил старик, посасывая свою трубочку. – Да и с одной гимназией далеко не уедешь... Дальше, пожалуй, потянет. Придется еще накинуть годиков пять...

– Мы дальше-то не загадываем, дядя, а только вот гимназию... – заметил Петр Афонасьевич, чтобы поддержать жену. – За битого двух небитых дают, дядя...

– Да ведь я ничего не говорю, – оправдывался старик. – Что же, выучится Сережка и жалованье будет большое получать... Дай бог!.. А то, может, военным захочет быть – везде скатертью дорога.

– Нет, он в военные не пойдет, – сказала Марфа Даниловна. – Плохое это дело быть военным...

– Всё от человека, матушка: хороший везде хорош. Конечно, в военной службе такого жалованья не дадут, зато почету больше. Каждый солдат честь отдает...

– Бог с ней, с вашей военной честью. Мы люди простые...

Старик улыбнулся, набил новую трубочку и замолчал.

– Пусть будет Сережка доктором, – заговорил Петр Афонасьевич. – Доктора, как попы, с живого и с мертвого берут... Самое занятие подходящее. Вон шурин, Павел Данилыч, как поживает...

При этом напоминании о брате Марфа Даниловна опять поморщилась. Она не любила брата, который забыл своих. Выбился в люди и никого знать не хочет. Конечно, он живет богато, а всё-таки свою родню забывать нехорошо. И сунуло Петра Афонасьевича вспоминать его.

– Да, Павел Данилыч... – повторил старик, попыхивая трубочкой. – Что же, отлично живет... Свои лошади, дом – полная чаша, женился на богатой... А только я так думаю, что и бедным тоже нужно жить... Не всем быть богатым да ученым... т.-е. оно не мешает... гм... а только надо привычку иметь ко всему. Как же... Павел-то Данилыч побольше трех тысяч в год получит, а сам кругом в долгу. За богатыми тянется...

– Не наше дело чужие дела разбирать, – уклончиво заметила Марфа Даниловна. – У Павла Данилыча свое, у нас свое... А я Сережу по судейской части пушу. Доктору страшно в другой раз, когда резать живого человека придется, а судейский знает свои бумаги... Я знаю одного члена суда: очень хорошо живут.

– Хорошо и судейским, – на всё соглашался старик. – А нет лучше нашего с тобой ремесла, Петр Афонасьевич: заберемся летом в Курью и знать ничего не хотим... Воздух один чего стоит, а матушка Лача разливается зеркало зеркалом. Утром встанешь: вода дымит, по заводям уточки крикают, рыбка плещется... Бог даст день – даст и хлеб. Нет этого лучше, когда человек кормится от своих трудов праведных. Прямо сказано: в поте лица снеси хлеб твой.

– Вот ужо крючья будем налаживать, дядя, – заговорил Петр Афонасьевич, возбужденный этим воспоминанием о своем ремесле. – У нас с тобой свое ремесло. Только бы зиму избыть.

– Живы будем – избудем.

Разговор принял другое направление, точно всем сразу сделалось легче. Петр Афонасьевич достал графинчик с водкой, появились домашнего соленья огурцы и рыжики. Яков Семенович подтянулся, крикнул и поздравил с новоиспеченным гимназистом.

– В старину так говорили: вспоить, вскормить, на коня посадить... – говорил он, выпивая первую рюмку. – А куда Сережа поедет на своем коне – дело уж его. Я-то по-стариковски, жалеючи вас, говорю... трудненько будет... да. Ну, да ничего, бог труды любит.

Ужинать старик не остался, несмотря на все уговоры, и Марфа Даниловна была рада, что он ушел. Она любила дядю и во всех трудных случаях жизни советовалась с ним, но сейчас он был лишним. Петр Афонасьевич чувствовал это и надулся на жену. Нужно заметить, что он немного побаивался её и находился в известном подчинении, но сейчас чувствовал себя

обиженным за старика. Ну, что ж из того, что старик и поворчит, – их же жалеючи... Старая военная косточка.

– И какие мужья одинаковые везде... – говорила Марфа Даниловна, когда после ужина они остались в спальне одни. – Дошло дело до гимназии, матери и повели ребят, а отцов-то и нет.

– А служба?

– Один-то день не велик... Просто струсил.

– Я? Нисколько!.. Мне это даже сущие пустяки, ежели бы не служба...

– Всё у вашего брата служба на языке... Чуть что, сейчас и за женину спину. Вон и Печаткин такой же...

– Да, ведь ты этого не знаешь? И Гавлич, по-твоему, струсил?

– Ну, там другое дело, а про тебя-то я знаю...

Петр Афонасьевич действительно боялся всякого начальства и Марфа Даниловна с умыслом кольнула его в больное место. Супруги немного повздорили, а потом помирились. В сущности, у обоих было так хорошо и полно на душе. Происходило что-то такое неиспытанное, новое. В маленькой спальне свеча горела далеко за полночь, освещая широкую двухспальную кровать, горку сундуков у внутренней стены и разное платье, развешанное по углам.

– А в самом деле, вдруг Сережка наш кончит гимназию? – повторял Петр Афонасьевич несколько раз с особенным удовольствием. – Ведь птицей будет, канальство... Пожалуй, еще наклоняешься ему. Хе-хе... Знаешь, Марфуша, мне всё кажется, что сегодня точно у нас воскресенье. Ей-богу...

Марфа Даниловна не могла разделить этого радостного настроения, потому что всецело была поглощена разными хозяйственными соображениями. Вот теперь эта форма да книги засели в голову, как два гвоздя, а впереди еще сколько набегит новых забот да хлопот! Хорошо воскресенье... Да и как еще будет Сережа учиться в гимназии? Готовили его дома с грехом пополам, а ведь там нужны и катехизис, и латинский язык, и геометрия. Марфа Даниловна почему-то особенно боялась именно геометрии, представлявшейся ей вершиной человеческой мудрости, и заснула с мыслью о ней.

III

Шервож, губернский город одной из северо-восточных губерний, красиво расположился на крутом берегу большой судоходной реки Лачи, которая разливалась здесь громадным плесом. С реки вид на город был замечательно хорош: красовались городские церкви, здания разных присутственных мест, городской сад и даже большая деревянная ротонда в греческо-казарменном стиле. Эта ротонда стояла на Бую, с которого открывался великолепный вид на всю реку. Под горой вся линия берега была занята пароходными пристанями, магазинами, мастерскими и просто рыбацкими лачугами. По ту сторону реки, на низком берегу разметала свои деревянные домики Рыбачья слободка, – Лача славилась рыбой.

Как большинство русских городов, при более близком знакомстве Шервож утрачивал всякую красоту. Улицы тонули в грязи, тротуары были только в центре, а обывательская постройка заставляла желать многого. Во всем городе была единственная порядочная улица Губернаторская. Она перерезывала город на две неравных половины и шла от Московской заставы к реке, упираясь в городской сад. На Губернаторской сгруппировалось всё, что было лучшего в городе: губернаторский дом, гостиный двор, духовная консистория, две гимназии, театр и целый ряд магазинов. Купеческие хоромы жались, главным образом, около Черного рынка. Параллельно с рекой тянулись семь широких улиц. По течению реки город начинался предместьем Глушки, а кончался другим предместьем Теребиловкой, гнездом нищих и жуликов. Кроме того, к городу примыкала еще Солдатская слободка, залегшая в трясине сейчас за Московской заставой. Одним словом, город, как следует быть городу, т.-е. искусственно созданный административный центр, влачивший какое-то подозрительное существование. Единственным живым местом являлась река, да и то только во время навигации, а затем город окончательно засыпал. Других отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности не полагалось. Тон всей жизни задавался чиновничеством, ютившимся по всевозможным палатам, канцеляриям и комитетам. Купечество и мещанство кое-как кормилось около этого чиновничьего клоповника. Некоторое оживление на время было внесено земством и новым судом, но и здесь горячий период быстро миновал.

Веселая улица связывала Глушки с Теребиловкой. Летом она наполовину зарастала зеленой полянкой. Тротуаров здесь не полагалось, а проехать её из конца в конец можно было только в сухую погоду. Клепиковы всё-таки любили её, потому что их домишко стоял сравнительно недалеко от Губернаторской, значит, почти в центре. По крайней мере, в последнем был уверен Петр Афонасьевич, гордившийся своей лачужкой гораздо больше, чем купцы своими трехэтажными хоромынами.

– По грошикам, по копеечкам деньги-то копил на дом, – любил рассказывать Петр Афонасьевич. – Пятнадцать лет копил, а потом женился и своим домишком обзавелся... Нельзя, живому человеку свое гнездо первое дело.

Собственно, на свое почтовое жалованье Петру Афонасьевичу никогда не скопить бы необходимой суммы, но его выручала Лача. В лето он зарабатывал рыбной ловлей средним числом около ста рублей и упорно откладывал эти деньги на покупку дома. Оставался еще небольшой долг, и Петр Афонасьевич не успел его выплатить только потому, что Сережа поспел в гимназию, и теперь деньги были нужны на другое. Мало ли новых расходов прибавилось...

Между собой Клепиковы жили душа в душу, как живут только маленькие люди в маленьких домиках. Материальные недостатки и хозяйственные заботы делали из этой супружеской четы одно органическое целое, и они несли бремя жизни с легким сердцем. Усиленный труд вносил, вместе с известным достатком, то хорошее, бодрое настроение, какого не купишь ни за какие деньги. Жили они, правда, очень скромно, на мещанскую руку, да и то едва успевали сводить концы с концами Марфа Даниловна частенько прихватывала какую-нибудь работу в

людях и успевала вышить в месяц рубля три-четыре, что составляло в хозяйственном бюджете большую «расставу», единственный расход, который позволяли себе Клепиковы, выходя из будничных рамок – были именины Петра Афонасьевича и Марфы Даниловны. Они готовы были вытянуть из себя последние жилы, только бы не ударить лицом в грязь и не показаться хуже других. Эти дни справлялись самым торжественным образом, и в маленьком домике набивалось гостей человек двадцать. Этим, впрочем, и ограничивалось всякое знакомство. Марфа Даниловна не любила шататься по гостям. Конечно, бывали случаи, когда завернет какой-нибудь непрощенный гость из своей чиновничьей братии, но всё дело ограничивалось чаем и только в крайнем случае рюмкой водки. Сам Петр Афонасьевич выпивал одну рюмку перед обедом, а в праздники позволял две.

Петр Афонасьевич, несмотря на свое очень маленькое общественное положение, был очень хороший и, главное, добрый человек. Происходил он из чиновничьей семьи, которая рано вся вымерла, и поэтому провел раннюю юность в сиротстве. Образование ограничивалось уездным училищем, а дальше началась служба с трех рублей жалованья. Двадцати пяти лет Петр Афонасьевич женился. Невесту он себе выбрал тоже сироту. Марфа Даниловна происходила из поповского звания и выросла сиротой в доме дяди, соборного протопопа в Шервоже. Можно было, конечно, жениться и на купеческой дочери, взять приданое, но Петр Афонасьевич верил в судьбу – увидел Марфу Даниловну в церкви, и очень приглянулась ему по душе скромная и серьезная девушка. Значит, так уж на роду написано, чтобы вместе век вековать. И никогда он не раскаивался – лучше жены не могло и быть.

Так жила семья Клепиковых в своем домике, тихо и счастливо, в стороне от всякого постороннего взгляда. Год за годом проходил незаметно. Из этого замкнутого состояния её вывело только поступление Сережи в гимназию.

Первым вопросом явилось сооружение гимназической амуниции. Марфа Даниловна долго прикидывала и так и этак, высчитывала, соображала и кончила тем, что отправилась в одно прекрасное утро на толкучку, где и встретила с Печаткиной.

– Вы, вероятно, насчет амуниции? – заговорила Печаткина откровенно. – И я тоже... Муж у меня получает пятьдесят рублей жалованья, не много на них раскочишься. Да и жаль шить новое таким пузырям, как наши детишки...

По рынку Печаткина ходила в старом порыжелом бурнусе и в шляпе; на одной руке у неё болтался кожаный ридикюль. Она, как оказалось, несмотря на простоватый вид, знала рынок лучше Марфы Даниловны и помогла ей купить недорого старый гимназический «плащ» и подержанный мундир. Вот относительно шитья она смыслила уже совсем мало и предполагала приобретенное старье отдать перешить какому-нибудь портному.

– Ах, нет, испортит, непременно испортит... – горячо вступилась Марфа Даниловна, в которой сказалась опытная швея. – Да и еще сдерет втридорога... знаю я этих дешевых портных. Одну половинку испортит, а другую украдет. Уж поверьте мне... Мужу я всегда шью всё сама.

– И даже вицмундир?

– И вицмундир...

Анна Николаевна пришла в такой искренний восторг от искусства Марфы Даниловны, что последней ничего не оставалось, как только предложить свои услуги на предмет сооружения амуниции маленького Печаткина. Анне Николаевне, конечно, было совестно, и она наговорила целую кучу комплиментов своей новой приятельнице. Не откладывая дела в долгий ящик, они с рынка прямо и прошли к Печаткиным, благо было по дороге.

– Уж я так благодарна буду вам, так благодарна... – повторяла Анна Николаевна всю дорогу. – А то хоть плачь.

Печаткины жили в Отопковом переулке, в нижнем этаже полукаменного дома. Квартира была неважная, и зимой, наверно, в ней было и сыро и холодно. Пройдя темные сени и очутив-

шись в передней, Марфа Даниловна чутьем отличной хозяйки почувствовала, что, хотя Анна Николаевна и носит шляпки и вообще очень добрая женщина, но хозяйка плохая. Это было в воздухе. Действительность оправдала такое предположение самым ярким образом. Печаткины жили даже неряшливо, и в квартире у них было всё разбросано, точно после пожара. На полу не было половиков, потолки давно следовало выбелить, обои в углах отстали, занавески на окнах приколочены криво, обивка на мебели ободралась, по столам и на подоконниках валялись вещи, которым настоящее место было где-нибудь в комоды или сундуке. Вообще, на пятьдесят рублей можно было устроиться много лучше.

– Я ведь без кухарки управляюсь, так уж вы извините... – оправдывалась Анна Николаевна, усаживая дорогую гостью на диван. – Знаете, с этими кухарками никакого способа нет, да еще они же грубят вам постоянно. Я ведь, голубушка, из столбовых дворян, а вот как привел бог жить! Только я-то не ропщу, а к слову пришлось.

Марфа Даниловна не любила прохлаждаться и сейчас же принялась за дело. Покупки были развернуты на столе и перевертывались на тысячу ладов, пока Марфа Даниловна не решила, что из большого плаща выйдет маленький, да еще можно выкроить штаны. Это опять привело Анну Николаевну в восторг, и она с каким-то благоговением следила за рукой гостьи, размечавшей мелком, как и что нужно будет выкроить. Около стола, на котором происходили эти дипломатические соображения, всё время вертелись две девочки, обе такие пухленькие и здоровые. Старшей было лет восемь, как раз ровесница Кате, а младшая была ровесницей Петушку.

– Какие прелестные у вас детки, – похвалила Марфа Даниловна, любившая всякую детвору. – И здоровенькие такие... Младшая-то совсем красавица будет.

– Я лучше была в её годы, – не без гордости ответила хозяйка. – А у вас тоже есть девочка?..

– Есть... Только моя Катя такая худышка.

– Значит, взаперти держите, а моя Люба целый день на улице.

– Девочке это не совсем удобно, Анна Николаевна. Мало ли каких глупостей может послушаться...

– Да, но от этого всё равно не убережешься...

Старшая девочка Люба всё время вертелась около стола к очень понравилась Марфе Даниловне. Такая полненькая да румяная девочка, точно яблоко. А большие темные глаза смотрят строго-строго... Девочка с любопытством рассматривала гостью и улыбалась с конфузливой наивностью, когда встречалась с ней глазами. Из-за перегородки выглядывала всё время золотистая головка младшей девочки Сони. У неё были такие прелестные голубые глаза, а кожа, как молоко.

– Ну, иди сюда, пухлявочка... – манила её Марфа Даниловна.

– Это баловень моего Григория Иваныча... Непременно он испортит её.

– Значит, ваш муж очень добрый.

– Да... Он вообще любит детей. Ах, знаете, что мне пришло в голову, Марфа Даниловна: вот у вас два сына и дочь, а у меня две дочери и сын – кто знает, может, и породнимся. Ей-богу, чего на свете не бывает...

Обе женщины только вздохнули и переглянулись. Марфа Даниловна посмотрела как-то особенно любовно на запачканное платье Любочки – отчего же и не породниться, если выйдет судьба? Маленькая замарашка ей очень нравилась.

Когда Марфа Даниловна кончила свое дело и собралась уходить, вернулся со службы Печаткин. Это был высокий лысый господин с большими рыжими усами. Какие-то необыкновенные гороховые штаны придавали ему вид «иностранца», как про себя назвала Марфа Даниловна нового знакомого. Он пожал руку гостьи и проговорил:

– Очень рад познакомиться... А где Гришка?

– А кто его знает, где он шатается день-денской... – в задорном тоне ответила Анна Николаевна и сейчас же смутилась, когда муж взглянул на неё и нахмурил свои нависшие рыжие брови.

«Частенько, надо полагать, промеж себя вздорят», – резюмировала про себя эту немую сцену Марфа Даниловна и прибавила, тоже про себя: – «Ну, этот иностранец, пожалуй, и голову отвернет».

– Вы куда же это торопитесь? – вежливо удерживал Печаткин, когда гостья поднялась.

– Мне пора, Григорий Иванович. И то замешкалась...

– Может быть, Аня надоела вам своей болтовней? Уж извините, мы слабеньки насчет язычка...

– Ты вечно. Григорий Иванович, скажешь что-нибудь такое, – обиделась Анна Николаевна. – Вы, Марфа Даниловна, не обращайте внимания на него. Он всегда такой...

– Уж какой есть, – добродушно заметил Печаткин, поймав прятавшуюся от него Соню. – Сонька, соскучилась о папке?..

Печаткин показался Марфе Даниловне очень умным человеком и настоящим хозяином в доме. Идя домой, она думала, что, пожалуй, он и прав, что держит свою столбовую дворянку в ежовых рукавицах. Вспомнив, как Григорий Иванович назвал жену «Аней», Марфа Даниловна даже рассмеялась: у них с мужем при чужих такие нежности не допускались, да и дети подрастают, а тут – «Аня»... Первое впечатление от семьи Печаткиных получилось самое неопределенное: они и нравились Марфе Даниловне и не нравились в то же время.

IV

Несмотря на резкую разницу в жизни, нравах и характере двух семей, между ними быстро установилась очень тесная дружба. Связующим звеном явились, конечно, дети. До начала настоящих занятий в гимназии происходила самая усиленная работа по обмундировке новобранцев. Печаткина раздобыла где-то ручную швейную машинку, и это значительно ускорило работу. Попеременно работали то у Печаткиных, то у Клепиковых.

– Вот выучим наших-то болванов, тогда и свои машины заведем, – мечтала вслух Анна Николаевна, бойко делая строчку. – Без машины, как без рук...

Эта спешка доставляла известное удовольствие обеим женщинам, внося в их жизнь что-то новое, что стояло выше обычного её монотонного хода. Они говорили о детях, поверяли друг другу свои заботы, страхи и надежды и не чувствовали, как за этими разговорами спорится работа. Анна Николаевна, правда, была немножко бестолкова и лезла из кожи, чтобы поспеть за Марфой Даниловной, у которой всякое дело горело в руках. Крепкая и выдержанная Марфа Даниловна как-то вдруг полюбила новую знакомую, добрую той неистощимой добротой, которая привлекает к себе расчетливых, тугих на язык людей.

Мужья тоже сошлись между собой. Григорий Иваныч пришел как-то вечером за женой, и знакомство завязалось. Он держал себя, как хороший старый знакомый. Женщины доканчивали какую-то работу, и Григорий Иваныч прошел в мастерскую Петра Афонасьевича, где хозяин мастерил свои крючья, а старик Яков Семеныч искал лесы.

– Вот это хорошо, – полюбовался Печаткин. – Только труд делает человека истинно благородным... Ей-богу, отлично!

Скромный Петр Афонасьевич даже сконфузился от этих похвал. Он, напротив, всегда тщательно скрывал свое рыбацье ремесло, считая его унижительным для чиновника. Яков Семеныч отнесся почему-то недоверчиво к новому знакомому и упорно молчал. Но Григорий Иваныч подсел к нему и заговорил:

– Вы, вероятно, в военной службе были?

– Случалось... Блаженная памяти Николаю I прослужил тридцать пять лет.

– Уважаю таких старцев, убеленных благообразной сединой, – добродушно басил Григорий Иваныч, хлопая старика по плечу. – По-моему, кто дожил до такой бодрой старости, тот не может быть дурным человеком... Извините, я говорю всё прямо. Позвольте покурить из вашей трубочки, Яков Семеныч...

Из вежливости Клепиков хотел закончить свою работу, но Печаткин настоял, что для него именно этого-то и не нужно делать. Напротив, он очень заинтересовался. Собственно, и работа была несложная. Бралась проволока, оттачивалась с одного конца острым жалом, потом обрубалась на особой наковаленке, затем тупой конец на той же наковаленке загибался в петлю, и получался крюк. Привычная работа шла быстро, и Печаткин полюбовался на нехитрое мастерство. Затем он подробно осмотрел все рыболовные снасти: «подолы» для стерлядей, вители, мережки, сети, кибасья, поплавки из осокорей и т. д. Всё это было развешано по стенам в самом строгом порядке.

– А вот в Америке, там уже давно искусственным путем разводят рыбу, – рассказывал Печаткин, посасывая трубочку. – По-ученому это называется писцекультурой... Очень выгодная штука. Рыбы получается в десять раз больше. Рыбопромышленники арендуют озера и реки, устраивают садки, питомники и вообще заводят правильное хозяйство. У нас, извините, рыбу только истребляют, а ведь она требует такого же правильного хозяйства, как пчела, шелковичный червь, баран, корова или лошадь. Лиха беда, что мы ничего не знаем и не умеем взяться...

Он подробно рассказал, как ведется дело в Америке, и старые рыбаки могли только ахать. Вообще, Печаткин сразу подавил их своей ученостью. Говорил он степенно, не торопясь, точно сам везде был и всё видел собственными глазами. Но, разговаривая о рыбе, Печаткин незаметно перешел к своим шервожским делам и пошел чертить: тот – дурак, этот – шарлатан, третий – межеумок. Всех по пальцам перебрал, и всем досталось на орехи. Скромный Петр Афонасьевич весь съежился, слушая эти смелые речи, хотя оно, конечно, ежели рассудить правильно... Да нет, не нашего ума дело.

– Горд я – вот главная причина, – продолжал Печаткин, закручивая свои рыжие усы. – Конечно, я маленький человек, но свою честь отлично понимаю и никому не позволю наступить себе на ногу... Уж извините!..

– Не мало с твоей честью-то горя напринимались, – ответила из другой комнаты Анна Николаевна, любившая вмешиваться в чужие разговоры. – Честь – это хорошо тому, у кого детей нет да денег много, а бедному человеку честь-то и не по чину в другой раз...

– Женщина, умолкни!.. – ворчал Григорий Иваныч, улыбаясь добродушной улыбкой. – И у зверя есть своя честь... Оскорбленный медведь поднимается на задние лапы и грудью идет на врага. А маленькому человеку вот как нужно беречь свою честь...

Никто не обратил внимания, как в мастерскую пробралась маленькая Катя и с жадным вниманием прислушивалась к разговору. Здесь еще в первый раз раздавались незнакомые слова, и её детское сердце по уверенному спокойному тону гостя верило, что именно он прав. Девочка инстинктивно всё подходила ближе и ближе к Григорию Иванычу, пока не очутилась у него на коленях. Он разглаживал её волосы своей большой сильной рукой, принимая, вероятно, за Любу, а потом с удивлением проговорил:

– Откуда взялась эта птица?..

– Я – Катя...

– Катя? А знаешь, кто была Екатерина великомученица, имя которой ты носишь?

Печаткин очень хорошо рассказал житие святой, а Катя всё время смотрела с изумлением ему прямо в рот, как это делают маленькие дети. Григорий Иваныч так хорошо рассказывал, что у неё навернулись даже слезы на глазах.

– Большая будешь – всё узнаешь, – закончил Печаткин, глядя детскую головку. – У меня вот две таких маленьких женщины есть...

– Ну и башка! – проговорил Петр Афонасьевич, когда Печаткины ушли домой. – Всё-то он знает... И как говорит: точно по печатному. Вот это человек... В самом деле – башка. Маленький человек, а всё-таки не тронь меня...

– Ты-то молчал бы лучше, – ворчала Марфа Даниловна. – В гимназию побоялся итти, а туда же...

– Нет, и мы тоже понимаем... да, Григорий-то Иваныч правду как ножом режет. Спроси хоть у Якова Семеныча...

– Правда-то правда, да только и правда хороша ко времени, а ум без разума беда... Спроси-ка Анну Николаевну, чего они не напринимались с своим благоверным: и в Москве жили, и в Казани, и в Саратове. Одни переезды чего стоят с семьей-то, а всё гордость гонит... Здесь они шестой год, а Григорий Иваныч уже шестое место занимает.

– Большому кораблю большое и плавание... А я, знаешь, согласен с ним.

– Ты?!..

– Да, я... А ты как бы думала?.. Он говорит, а я всё понимаю. И знаешь что?.. Я ведь тоже не дурак... Хе-хе! Всё могу понимать... Такой маленький чиновник почтовый – и вдруг всё понимаю. Ты-то вот только ничего не замечала...

Это было до того смешно, что Марфа Даниловна только рассмеялась. Вот поднялся-то... Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

Пришел Григорий Иваныч за своей Аней и в следующий раз.

Теперь Петр Афонасьевич и Яков Семеныч держали себя уже гораздо смелее и даже подняли свой вечный спор, кем лучше быть Сереже: доктором или адвокатом. Печаткин слушал, улыбаясь и покуривая папиросу.

– Доктором лучше всего быть, – сказал Петр Афонасьевич, загибая деревянным молотком совсем готовый крючок. – Доктор как поехал по больным, так, глядишь, десятка и шевелится в кармане... Вон наш Павел Данилыч по четвертному билету привозит с практики. Масленица, а не житье.

– А ежели больной помрет? – спорил Яков Семеныч. – Да меня хоть озолоти, а я в доктора не пойду. Ты его лечишь, стараешься, а он на зло тебе и помрет... А тут еще семья останется – слезы, горе. И деньгам не обрадуешься... Адвокату невпример лучше...

– И адвокатом не дурно, – соглашался Петр Афонасьевич. – Только у адвокатов что-то деньги плохо держатся. Очень уж форсят адвокаты-то...

– Оттого и плохо держатся, что легко достаются, – вставил свое словечко Печаткин. – А в сущности и доктора и адвокаты – дармоеды...

– А кто же, по-вашему, не дармоед?

– Да вот хоть вас взять... Вы себе в поте лица хлеб зарабатываете. Маленький кусок, да честный. Ну, потом учитель тоже горбом берет, инженер, если он с головой. По-моему, тяжело кормиться за счет несчастья ближнего, как болезнь или судебное дело. Тут должна быть даровая помощь, а у нас как раз наоборот: ты болен, не можешь работать, а тут плати за визит доктору, за лекарство. Несправедливо вообще...

– Так, так... – задумчиво повторял Петр Афонасьевич. – А вы куда же прочите своего Гришу?

– А это уж его дело: моя обязанность дать ему среднее образование, а там пусть уж сам выбирает. Скатертью дорога на все четыре стороны... По-моему, лучше всего быть техником, потому что техник открывает новые пути для промышленности и дает хлеб тысячам рабочих.

– Ну, уж это вы извините, Григорий Иваныч, – вступилась Марфа Даниловна. – Как же это так: учи, хлопочи, вытягивайся, а потом «куда хочешь». Мало ли они, по своей глупости, куда захотят... Надо и о родителях подумать. Не чужие, слава богу.

– Можно, конечно, посоветовать, Марфа Даниловна, но не больше... Всё равно, своего ума к чужой коже не пришьете. Нужно всё делать по-хорошему, тогда всё и будет хорошо...

Марфа Даниловна не любила вмешиваться в чужие разговоры, а тут считала своим долгом спорить. Она боялась, что вольнодумство Григория Ивановича будет иметь нехорошее влияние на детей, да и Петр Афонасьевич что-то начал храбриться. Происходили жаркие схватки, и каждый раз Марфа Даниловна должна была уступать поле сражения более сильному противнику.

– Разве с вами можно спорить, Григорий Иваныч? – говорила она в заключение. – Мы люди неотесанные, а вы всё знаете... Наверно, и геометрию учили. А всё-таки я права...

– Что вы правы, с этим я позволю себе не согласиться, – мягко возражал Печаткин. – Да и учился я тоже на медные деньги, хотя кой-что и знаю. Настоящего образования не получил, а так, своим умом доходил до многого...

– Вы лучше и не спорьте с ним, – уговаривала Анна Николаевна горячившуюся Марфу Даниловну. – Его не переспоришь... Он всегда прав.

– Женщина, не ропщи.

Появление Печаткина в маленьком домике Клепиковых вносило каждый раз такое хорошее оживление. Не было тех чиновничьих разговоров, как на именинах, а что-то такое совсем новое, что пугало Марфу Даниловну, выбивая её из обычной колеи. Даже старый служака Яков Семеныч – и тот был на стороне Григория Ивановича.

– Приятно побеседовать с умным человеком, – повторял старик не без ехидства.

Катя неизменно присутствовала при всех этих спорах и проникалась безграничным уважением к лысой голове Григория Иваныча. Ведь Григорий Иваныч всё знает, Григорий Иваныч всех умнее... И какой он добрый.

– У них две девочки, мама? – спрашивала Катя мать.

– Да...

– Отчего же они к нам не придут?..

– Ну, это уж лишнее...

Катя умолкла, стараясь представить себе, какие девочки у Григория Иваныча. Наверно, славные девочки.

V

По случаю какого-то ремонта занятия в гимназии начались позже обыкновенного, именно после двадцатого августа, что совпало с получением чиновниками жалованья. Григорий Иваныч воспользовался этим случаем, чтобы устроить настоящее пиршество. Клепиковы были удивлены, с какой роскошью был устроен праздник. Конечно, Печаткин получал 50 р. жалованья, но всё-таки и ветчина, и балык, и коньяк, и кондитерский пирог для детей... Это уж было слишком, как хотите. Были приглашены вся семья Клепиковых и старый дядя Яков Семеныч. Это был первый большой праздник в жизни Кати Клепиковой, и он запал в её воспоминаниях со всеми мельчайшими подробностями.

В большой комнате квартиры Печаткиных посредине были поставлены вместе два ломберных стола, покрытые камчатной скатертью, и на них в картинном порядке были расставлены все подробности предстоявшего праздника. Печаткин посадил председателем Якова Семеныча в один конец стола, а за другим разместил детей.

– Вы, Марфа Даниловна, сядете рядом со мной, – командовал Григорий Иваныч, – а ты, Аня, с Петром Афонасьевичем. Так всегда делают в порядочном обществе... Жаль, что нет букетов для дам.

Дети, разодетые по-праздничному, с любопытством разглядывали друг друга, а девочки даже ощупали все ленточки, бантики и оборочки. Вымытые личики улыбались, глаза светились весельем в ожидании чего-то необыкновенного. На Кате было розовое барежевое платье с красивой пелеринкой и канареечного цвета шелковый шарфик на шее; белокурые волосы были заплетены в тугую косу и на затылке перехвачены голубым бантом. Люба в своем шерстяном платье цвета бордо походила на спелую вишню; распущенные темные волосы трепались у неё по спине, как крыло птицы. Она всё время улыбалась, крепко держала Катю за руку и постоянно что-нибудь шептала ей на ухо. Петушок и маленькая Соня сидели около своих матерей в самом праздничном виде и глупо тарасили друг на друга глазенки. На Соне было надето очень кокетливое кисейное платье с настоящими кружевными прошивками и голубыми бантами на плечах, а Петушок сидел в новой ситцевой рубашке, при каждом движении шумевшей, как бумага. Он всё время старался снять кожаный пояс и новые сапожки. Только что испеченные гимназисты, конечно, представились в своих новеньких мундирах и чувствовали себя крайне неловко, потому что им в первый раз приходилось служить предметом общего любопытства.

Григорий Иваныч находился в самом хорошем расположении духа, улыбался, шутил с детьми и даже сказал спич.

– Господа, мы сегодня кутим напропалую, – говорил он, поднимая стакан с дешёвеньким красным вином. – Дети, не забывайте этого праздника... Мы, старики, празднуем ваше вступление в жизнь. Впереди вас ждут упорный труд и всевозможные лишения, но в этом всё богатство бедных людей. Бойтесь не нищеты, а богатства. Деньги – великий соблазн, и они прежде всего убивают в маленьком человеке его гордость, сознание собственного достоинства. Сережа, Гриша... будьте всегда горды честной гордостью бедняков, и да сохранит бог вашу чистую душу от золотых соблазнов. Деточки, помните, что у вас есть младшие братья и сестры, которым, может случиться, не от кого будет услышать трезвого слова... Милые мои деточки, будьте же умными, честными и добрыми людьми. Поэт сказал:

Если бедна ты,
Так будь ты умна...

Григорий Иваныч хотел сказать еще что-то, но у него перехватило горло, и он только бессильно махнул рукой. Со слезами на глазах он обошел всех детей и крепко расцеловал каж-

дого, а Катю обнял крепко-крепко, потому что девочка смотрела на него такими большими, полными слез глазами.

После этого знаменательного ужина прошло много длинных и трудных лет, а Кате Клепиковой стоило только закрыть глаза, как она сейчас же видела грубое лицо Григория Иваныча с рыжими усами, видела его большие строгие глаза, полные слез, и, кажется, чувствовала, как он целует её, маленькую Катю в барежевом платье, и ей каждый раз опять делалось и страшно и хорошо. Детская память, как фотографический негатив, на который пал солнечный луч, сохранила до мельчайших подробностей всю эту сцену, хотя она и перепутывалась самым нелепым образом с распущенными темными волосами Любочки, с раскрытым ртом Петушка, кондитерским пирогом, гимназическими пуговицами и надоедавшим ей шопотом Любочки. Но мы забегаем вперед...

Весь ужин прошел очень весело. Григорий Иваныч был душой общества и до слез смешил детей разными фокусами: откупоривал языком воображаемую бутылку, наливал несуществовавшее вино, кричал «ура», как будто кричал кто-то на улице, представлял чухонца и т. д. Клепиков рассказывал Анне Николаевне о хитростях лачинских стерлядей и судаков, а раскрасневшийся Яков Семеныч припомнил зараз несколько анекдотов о двух генералах, ездивших на жидях. Марфа Даниловна молчала, наблюдая начинавших пошаливать ребятишек. Гимназисты уже вышли из своего парадно-оцепенелого состояния и старались стащить один другого со стула, зацепив под столом ногой. Любочка катала из хлеба шарики и бросала их в Сережу; Кате хотелось сделать то же самое с востроносым Гришей, но она чувствовала на себе строгий взгляд матери и только болтала под стулом ногами.

– А вы неладно, Григорий Иваныч, насчет богатства-то, – заметила Марфа Даниловна, когда мужчины успели заметно оживиться.

– То-есть как это неладно?

– А так... Для чего же мы детей в гимназию отдаем? Конечно, чтобы потом богато жили и нас поминали за наши труды. Это уж все так хлопочут.

– Так, так... – повторил Григорий Иваныч, потирая сморщенный лоб. – Я уж это слышал... И вы с своей точки зрения правы, а я с своей. Вот у наших детей будут богатые товарищи по гимназии, разные маменькины сынки, и наши дети, по своей детской глупости, может быть, не раз позавидуют этим счастливым в бархатных курточках, разъезжающим на рысаках. Так?

– Зачем же завидовать, Григорий Иваныч? Кому уж что бог послал, тот тем и владей... Завидовать грешно.

– Хорошо. Допустим, что наши дети кончат и гимназию и университет и сделаются богатыми людьми. У них будут уже богатые дети, которым будут завидовать вот такие бедняки, как мы с вами... Неужели для этого стоит жить?.. Нет, есть другие сокровища, как наука, помощь ближнему, своя совесть.

– Верно!.. – подтвердил старик Яков Семеныч и даже стукнул кулаком по столу. – У нас был полковник... Когда умер, и похоронить не на что было, а провожал его целый город, потому что доброй души был человек. Его так и звали: «солдатская каша».

– Тогда вам следовало бы отдать вашего Гришу, Григорий Иваныч, не в гимназию, а к какому-нибудь сапожнику, – ядрито заметила обиженная Марфа Даниловна. – Уж, кажется, как трудятся...

– Что же, хороший сапожник лучше богатого бездельника... Вы знаете, Марфа Даниловна, прекрасный турецкий обычай: там каждый должен знать какое-нибудь ремесло, даже сам султан. А в Китае богдыхан первый пашет землю...

Обед затянулся и кончился только при огне. Маленькая Соня заснула тут же за столом, а Петушок начинал клевать носом, запачканным в варенье.

Кате сделалось ужасно грустно, когда они вышли на улицу, где было и темно, и грязно, и холодно. Петр Афонасьевич нес на руках сонного Петушка, Сережа бежал рядом с ним,

шлепая по лужам. Катя шла рядом с дедушкой Яковом Семенычем, который плохо видел в темноте. Девочке всё время представлялась ярко освещенная комната у Печаткиных, парадно накрытый стол, улыбающаяся Любочка, непонятные разговоры больших, и она сладко жмурила слипавшиеся глаза. Как было бы хорошо, если бы вся жизнь состояла из таких праздников!.. И Катя верила, что теперь будет всё другое, потому что Сережа поступил в гимназию. А зачем Григорий Иваныч бранил богатых гимназистов и плакал, когда целовал всех детей?

– Да, это штука! – повторил захмелевший на воздухе Яков Семеныч, спотыкаясь и причмокивая. – Люблю... Ай да Григорий Иваныч: молодчина!.. Направо кругом марш, и больше никаких... Ха-ха! Ловко...

Жизнь Клепиковых вошла в новую колею.

Занятия в гимназии начались, и Сережа каждый день являлся домой с своими гимназическими новостями. Седого швейцара зовут все Сивкой, генерал «Не-мне» кричал на кого-то в коридоре и топал ногами, Гавличу поставил учитель арифметики кол и т. д. Марфа Даниловна теперь знала, как зовут всех учителей Сережи: учитель русского языка Павел Васильевич Огнев, учитель арифметики Константин Игнатьевич Головин, учитель латинского языка Михаил Михайлович Бржецевич, законоучитель о. Евгений.

– Огнева у нас все боятся, – рассказывал Сережа. – Он так закричит, так затопчет ногами... Третьего дня он бросил в одного ученика книгой. А всё-таки он добрый, и его все любят...

– Какой же добрый, если кричит и книгами бросает? – удивлялась Катя.

– И сердитый и добрый... – авторитетно объяснял Сережа. – А между прочим, ты девчонка и ничего не понимаешь.

– Я сама поступлю в гимназию...

– Куда тебе!..

Вообще, поступив в гимназию, Сережа быстро усвоил себе тот задорный школьный тон, который развивается в мальчиках товариществом. Раньше он постоянно играл с Катей, а теперь точно стыдился за её существование, особенно когда к нему приходил кто-нибудь из товарищей «первоклашек». Обиженная таким явным невниманием, Катя даже плакала и потихоньку жаловалась своим куклам, глупо таращившим на неё свои стеклянные глаза. А Сережа, точно на зло, любил рассказывать о своих товарищах разные смешные истории и вообще изображал в самом заманчивом свете начинавшееся товарищество. Маленькая Катя и завидовала ему, и пряталась, когда приходили эти товарищи, и даже ненавидела совсем неизвестных ей мальчиков. Да, им весело, а у неё только куклы да Любочка, которую она видела очень редко. Вот Любочка, так та совсем иначе относилась к новоиспеченным гимназистам.

– Разважничались наши «первоклашки», – смеялась она самым задорным образом, так что у неё на розовых щеках прыгали такие смешные ямочки. – А Огнев их поросятами называет. Ха-ха!.. И боятся они его...

Любочка была смелее Кати и любила подразнить гимназистов. И даже было несколько таких случаев, когда ей приходилось вступать в рукопашную. Она раз побила какого-то растерявшегося «первоклашку», а потом сама же и расплакалась.

– Ну, это лишнее, Любовь Григорьевна, – заметил ей отец с своей суровой ласковостью. – Нужно доказывать не руками, а головой...

– Если они глупые, папа, и дразнят нас с Катей?.. Мы – девочки, с нами нужно быть вежливыми.

– Ого, какая женщина! А сама зачем дерешься?

– Я только один раз ударила, папа... Всего один разочек! Прямо по голове: чик... ха-ха!.. У него, папа, уши смешные... А он мне говорит: «все девчонки глупые». Это неправда, во-первых, а во-вторых, я-то ведь не виновата, что родилась девочкой... И если бы это от меня

зависело, то я всё-таки родилась бы девочкой, на зло им всем. Да, девочка, девочка, девочка... А у этого гимназиста, папа, такие смешные уши!

Григорий Иваныч смеялся до слез над болтовней Любочки. Девочка была развита не по годам и говорила таким смешным языком, перемешивая свои детские слова с фразами и целыми выражениями больших людей. Печаткину больше всего нравилось в дочери проявление решительности, – сквозь детскую мягкость так и пробивался смелый, самостоятельный характер. Он узнавал в девочке самого себя, т.-е. то, что он уважал в себе.

Гимназист с «смешными ушами», которого Любочка «треснула» для первого знакомства, оказался тем самым поповичем Кубовым, которого отец привел на экзамен вместе с Гришей и Сережей. Любочка быстро с ним примирилась и старалась всеми мерами загладить свою мальчишескую выходку. В свои восемь лет она была гораздо умнее и находчивее десятилетних гимназистов, особенно, когда дело касалось политики.

Товарищи по гимназии с первых же дней распались на богатых и бедных. Это произошло само собой, как сортируется зерно при веянии. Товарищи Гриши и Сережи были такие же бедняки: попович Володя Кубов, чиновничьи дети Сеня Гребнев и Миша Заливкин и т. д. Аристократию первого класса составляли: Гавлич, сын пароходчика Болтин, поляк Ключковский и купчик Сигов. У богатых были свои интересы, свои знакомства и вообще свой кружок. Марфа Даниловна в первое время очень огорчилась, что Сережа заводит дружбу с голытьбой, но Петр Афонасьевич её успокоил.

– И лучше, что не лезет, куда не следует, – говорил он. – У богатых своя линия, а у нас своя. Неизвестно еще, что впереди будет... Вот этот попович Володька, он далеко пойдет. Да... Он и теперь чуть не первым. Вот тебе и голытьба... Еще посмотрим. Гриша Печаткин тоже хорошо учится. Наш Сережа из мяконьких, ни шатко, ни валко, ни на сторону... Что же, и это хорошо. Маленькое, да свое...

Вместе с гимназическими новостями Сережа приносил домой жеваную бумагу, которую и бросал в потолок с большой ловкостью. А когда готовил по вечерам уроки, то всё время жевал резинку или какую-то «смолку». Размягченная резинка служила отличной хлоплушкой. Однажды с этой жвачкой Сережа принес и свою первую двойку, которую ему «залепил» Огнев. Марфа Даниловна растерялась и решительно не знала, что ей делать. Сама она не могла помочь, потому что передала Сереже уже все свои знания, а Петр Афонасьевич знал меньше, чем она. С горя она прибила Сережу и пообещала даже высечь его, если он хоть раз принесет такую двойку. Сережа горько плакал и жаловался, что совсем не понимает русской грамматики.

– Ты у меня будешь понимать! – кричала на него Марфа Даниловна, подавляя в себе невольное чувство жалости к неразумному детищу. – Я выколочу из тебя леность... Бумагу жевать умеешь, а грамматику не понимаешь? Как же другие-то учатся? Вон у Володи Кубова все пятерки по русскому языку. Я сама попрошу директора отодрать тебя.

Петр Афонасьевич для проформы тоже покричал на Сережу, но толку от этого было мало.

– Надо будет к Григорию Иванычу толкнуться... – решил дядя Яков Семеныч, бывший свидетелем этой сцены. – Он всё знает и устроит как-нибудь...

– Ну, уж это ни за что! – сказала Марфа Даниловна. – Печаткины еще загордятся... Мы уж лучше сами как-нибудь.

Марфа Даниловна немножко сердилась на Григория Иваныча после своего разговора о богатстве. Выручил старый дядя, который сам вызвался отвести Сережу и переговорить с Печаткиным.

Сережа плакал всё время, пока шел с Яковом Семенычем к Печаткиным. Мальчику было и совестно, и, вместе, он почему-то боялся Григория Иваныча. Старик пожалел мальчика и по-своему утешал его.

– Ну, чего ты реवेशь? Слава богу, не замуж выдаем. Дело житейское. А вот отдать бы тебя в военную службу, так там, небойсь, выучили бы... Перестань хныкать. Говорю: нехорошо.

– Я боюсь, дедушка...

– Глупости... Бойся бога, а людей нечего бояться.

На счастье Григорий Иваныч оказался дома. Он внимательно выслушал объяснения Якова Семеныча, по своей привычке хлопнул его по плечу и разрешил всё дело:

– Пустяки... Вон у меня Гришка по арифметике хромает. Ничего, выправим. Вы его посылайте ко мне... Эх, малыцы, малыцы!.. Просто, не умеет за книгу взяться. Это бывает... Ну, что, как Петр Афонасьевич?

– Да ничего... Служит, а по вечерам снасти свои готовит.

– Так, так... гм... да. А девочка эта... ну, Катя, учится она?

– Грамоте мать учит...

– Мало одной грамоты... Надо в гимназию отдавать, дедушка. Человеком потом будет...

– Уж и не знаю, право, Григорий Иваныч, как этому делу быть... Оно даже и не под силу, пожалуй, будет двоих-то зараз полнимать, а там Петушок растет.

– Бог даст день – даст и хлеб... Вздор!

– Ведь девочка, Григорий Иваныч... Велико ли девичье ученье!

– Ну нет, старина: девочке-то и нужно ученье. Не такое время... А я вам вот что скажу: пусть Марфа Даниловна посылает ко мне эту Катю... Мне ведь всё равно готовить же свою Любку, ну, и та по пути выучится. Да и девочка-то серьезная... После вот какое спасибо скажет нам с вами.

Благодаря Печаткину, вышло как-то так, что Якову Семенычу самому пришлось уговаривать Клепиковых относительно Кати Петр Афонасьевич вперед был согласен, потому что очень любил дочь, а Марфа Даниловна поломалась, прежде чем согласиться.

– Нехорошо даром обязываться тому же Григорию Иванычу... – спорила она, раздумывая. – Он-то любит детей, это хорошо, а нам навязываться неудобно.

– А если он сам предложил? – спорил Яков Семеныч.

– Я ему такую рыбину заловлю в Лаче! – хвастался Петр Афонасьевич, потирая руки. – Вот и будем квиты... Верно, дедушка?..

Сережина двойка решила судьбу Кати. Она стала ходить к Печаткиным каждый день после обеда. Григорий Иваныч занимался по-своему. Он после обеда укладывался на диван с длинной трубкой, обе девочки подсаживались к нему, и занятия начинались. Они рассказывали свои уроки, Григорий Иваныч поправлял ошибки, объяснял и каждый раз рассказывал девочкам что-нибудь интересное. Катя была в восторге от этих занятий и отлично готовила свои уроки. Любочка иногда подленивалась, и Григорий Иваныч ласково журил её.

– Женщина Любочка, леность есть мать всех пороков... Нехорошо. Я буду старый и седой, и мне будет стыдно, что у меня ленивая дочь.

– А если мне спать хочется, папа? – откровенно сознавалась Любочка.

– А ты поменьше кушай... Вон Катя отлично всё знает.

Любочка не раз дулась на Катю, а потом забывала свой гнев и ждала каждый день приятельницу с нетерпением. Главное затруднение заключалось в том, что зимой темнело скоро, и Кате неудобно было ходить по глухим улицам одной.

К Печаткиным она еще кое-как пробиралась засветло, а обратно приходилось брать провожатого. Сначала её провожал Сережа. Но он скоро поправил свою двойку, и Катя осталась одна.

Григорий Иваныч посылал теперь провожать Гришу. Исполненный мальчишеского задора, «первоклашка» терпеть не мог таких проводов какой-то девчонки, которая шляется, не зная зачем... Несколько раз он незаметно заводил свою даму куда-нибудь в снежный сугроб или просто убегал от неё, оставив её на произвол судьбы. Катя всё переносила и ни разу не пожаловалась на злого мальчишку. Она не пожаловалась даже и тогда, когда Гриша прибил её и очень больно прибил. Девочка несколько времени сидела на снегу, сдерживая душившие её

рыдания. Домой она вернулась с помертвевшим личиком, но никому не выдала своей маленькой тайны: она понимала, что, если пожалуется, то её не будут пускать учиться к Григорию Иванычу, другими словами – она не поступит в гимназию вместе с Любочкой. Однако Петр Афонасьевич что-то заподозрил и спросил:

– Что с тобой, Катя? будто ты того... нездорова.

– Я замерзла, папа... холодно.

Это ничтожное само по себе происшествие имело громадное значение для Кати, именно – с этого момента она почувствовала ту невидимую стену, которая навсегда отделила её детство от такого же детства мальчиков. Зачем Гриша прибил именно её? Если бы она была мальчиком, так он этого не сделал бы без всякой причины. Вообще все мальчишки такие глупые и злые. В маленькой девочке с мучительной болью просыпалась женщина... «Тебе этого нельзя: ты – девочка», – эта фраза повторялась постоянно Марфой Даниловной на всевозможные лады, но до сих пор оставалась пустым звуком, потому что Катя играла с мальчиками во всякие игры, бегала с ними даже на реку и не чувствовала отделявшей её от них разницы. Теперь другое дело: её отталкивали, обижали, дразнили.

«Злые... гадкие! – думала про себя Катя и давала себе слово не связываться с ними, несмотря ни на какие соблазны. – Пусть свою резинку жуют и получают двойки из грамматики и арифметики. Так им и нужно... Скверные!..»

Здесь же Катя заметила разницу, существовавшую между семьями. Не раз она думала про себя, что если бы её матерью была Анна Николаевна, то ей всё можно было бы рассказать и Григорию Иванычу тоже. А вот маме она не решалась говорить многого. Папа, конечно, добрый, но он всё делает, как того хочет мама. В семье Клепиковых недоставало той непринужденной доброты, какая царила у Печаткиных. Катя очень любила мать и вместе боялась её. Это последнее чувство являлось роковым порогом, через который никак не могло переползти детское сознание. Мысль работала сама по себе, в своем маленьком уголке, и работала с неустанной самостоятельностью.

VII

Так складывалась жизнь двух семей, закинутых в далекую провинциальную глушь: маленькие люди, маленькие интересы, маленькие радости и большие заботы.

Зима промелькнула незаметно. Пошли ростепели, тронулся зимний снег, по Лаче пошли желтые наледи, точно самый лед проржавел. К пасхе прилетели скворцы, а сейчас после пасхи прешла и Лача. Для Петра Афонасьевича и Якова Семеныча это время было настоящим праздником, потому что открывался сезон рыбной ловли. Первая «рыбалка» составляла целое событие. Рыбаки служили молебен и в ночь выезжали в первый раз в свою Курью. У них были свои рыбацкие приметы: снег глубокий – рыбы будет много, на Благовещение играли весенние зори – «жор» будет хороший. Сейчас после вскрытия реки отлично «шла» щука в витили, она же хватала всякую приманку, вообще, у щуки был «жор». Хорошо идет также налим, которого ловят ночью.

Клепиков с дядей выехали во вторник на Фоминой неделе, пропустив понедельник, как тяжелый день. Снасти были готовы, лодка – тоже, одним словом, всё. Яков Семеныч всегда веселел в этот день, а нынче чувствовал себя особенно торжественно, потому что от рыбного сезона зависело благосостояние целой семьи.

– Как-то господь украсит наше лето рыбкой, – говорил старик, укладывая снасти в лодке. – Кабы устроил господь...

По примете никто не должен был провожать рыбаков, особенно женщины, – рыба не любит баб. И вообще отправление на рыбалку обставлялось некоторой тайной, чтобы соседи, боже сохрани, не видали. Как раз еще сглазят.

– Не видать бы вам ни рыбьего пера, ни чешуи, – говорила Марфа Даниловна на провозах, повторяя заказную фразу, гарантировавшую успех.

Петр Афонасьевич успокоился только тогда, когда лодка отвалила от берега. Ничего, всё сошло благополучно: соседи не видали, и из знакомых никто не встретился на дороге. Лача была мутная, кой-где подхватывал сердитый ветерок. Яков Семеныч сидел обыкновенно на корме с рулевым веселком, а Петр Афонасьевич работал распашными веслами. Лодка была небольшая, едва поднимала человек пять, но в Курье большая и не годилась – как раз застрянет в камышах или где-нибудь на мели, а эта везде пройдет.

Когда лодка выехала на середину реки, Яков Семеныч отыскал глазами Никольскую церковь и начал широко креститься: Никола угодник – рыбацкий бог. Он это делал каждый раз с особенным усердием. Петр Афонасьевич, прищурившись, любовался красиво раскинувшимся по высокому берегу городом. Ничего, город отличный, особенно высокий мыс направо, где приютилась женская община: какой бор сохранился у монашек, а из-за сетки деревьев мелькали такие уютные, беленькие, чистенькие монастырские здания с большой Никольской церковью посередине. Общину в хорошие дни отлично было видно из Курьи. Хорошее, угодливое местечко выбрали сестры. В Курью передний путь от Шервожа был вниз по реке, и лодка летела стрелой: какой-нибудь час, – и дома. Глубокая Лача шла быстро и даже в тихую погоду не была спокойна, а постоянно взбуривала водяными вихрями. Свежий весенний ветерок так и бодрил, заставляя молодеть даже Якова Семеныча. Ах, и хороша кормилица Лача...

Курья – небольшой глубокий залив, вдававшийся в левый берег – с Лачи была почти незаметна и по внешнему виду ничего особенного не представляла. Выдававшаяся в реку коса в половодье заливалась внешней водой, так что устроенная на ней рыбацья избушка была укреплена сваями и тяжелыми камнями. Бывали годы, когда вода заливала и самую избушку. Сейчас за Курьей начинался смешанный лес и заливные луга. Вообще местечко было красивое, и Петр Афонасьевич ежегодно выплачивал за него в Рыбачью слободку около пятидесяти рублей арендной платы. Подъезжая в первый раз к Курье, рыбаки испытывали тревогу за свою

избушку: не разорили ли, не сожгли ли. Мало ли по реке лихих людей и просто озорников. Пустяковая постройка, да время дорого.

– Вон она! – крикнул Яков Семеныч с кормы, когда лодка огибала косу. – Целехонька наша голубушка...

Вот и причал. Слава богу, всё в порядке. Снасти разложены на берегу, разобраны, еще раз пересмотрены и потом уже в полном порядке перенесены в избушку. Первым делом закурился веселый огонек на берегу, а потом задымилась и самая избушка.

– Хорошо... – повторял в умилении Яков Семеныч, вдыхая свежий воздух. – Лет двадцать с плеч долой.

Весенний день невелик, и засветло едва успели управиться. Первые жерлицы на шук ставил в Курье всегда Яков Семеныч: рыба лучше дается старикам, как и пчела. Работа шла молча, да и некогда было разбалтывать. Первая ночь всегда задавалась тяжелая: и от работы за зиму отвыкли и дела много. Петр Афонасьевич так и не сомкнул глаз во всю ночь, а Яков Семеныч прикурнул в избушке чуть-чуть: один глаз не спит, а другой видит. Петр Афонасьевич успел в это время заудить несколько налимов – эта рыба только ночью и берет. По первому улову рыбаков своя примета: хорошо пойдет рыбка, так и всё лето будет хорошее.

– Вот, дедка, какой староста попался! – будил Петр Афонасьевич дядю ранним утром. – Гляди-ка, какой налимище... Я его Григорию Иванычу предоставляю. Пусть и от наших трудов отведает...

– Форменно!..

Ночь вышла удачная, и Петр Афонасьевич рано утром отправился в город с хорошей добычей; десятка полтора шук да столько же налимов. Рыбу у него обыкновенно покупали городские торговки на берегу, где причаливала лодка. Знаменитый налим был отправлен Григорию Иванычу с Сережей.

– Ого, какое произведение природы! – похвалил Печаткин. – Этакую рыбину, пожалуй, и губернатору не стыдно съесть.

Рыболовный сезон пошел своим ходом. Клепиков день был на службе, обедал дома, а вечером отправлялся в Курье. Ему не приходилось спать первые ночи напролет, пока устанавливались снасти и заводился весь порядок. А потом уже было легче: спали поочередно.

– Выспимся зимой, дедка...

– Успеем.

А как были хороши эти весенние ночи! Рыба в воде играет, утки плещутся, по песочку кулики суетятся, в осоках и по камышам гнездится водяная курочка, оголи и всякая другая болотная птичка. Сколько хлопот, шуму, суеты, веселья... Яков Семеныч по целым часам прислушивался к этой кипучей жизни и только вздыхал от умиления. И днем тоже хорошо. По реке вереницами плыли барки, нагруженные лесом, медленно ползли плоты из бревен, мелькали косные лодки; изредка с шумом пробегал пароход. Старик не любил пароходов: они только рыбу пугали.

Работа кипела, и время летело незаметно. Рыбаки, несмотря на тяжелую работу, чувствовали себя прекрасно.

Раз под вечер они сидели около огонька за походным чайником, как послышалось шлепанье весел на реке, и к самой избушке причалила лодка.

– Гей, мир на стану! – крикнул сильный мужской голос.

– Батюшки, да ведь это Григорий Иваныч...

Удивлению не было конца, когда из лодки за Григорием Иванычем вышли Любочка и Катя. Девочки кинулись на шею к Якову Семенычу, которого давно уже не видали. В сущности, это движение служило только выражением переполнявшей их радости.

– Дедушка, миленький, мы на охоту приехали! – объясняла Любочка. – А как у вас здесь хорошо... Папа добрый и ходил отпрашивать Катю. Марфа Даниловна долго не соглашалась,

а папа её уговорил... Мы гребли веслами, дедушка, и нашу лодку так качало, когда шел мимо пароход. Ах, как хорошо...

– Ну, чудеса, как это Марфа-то Даниловна расступилась! – удивлялся Яков Семеныч, лаская девочек. – Ах, вы, стрекозы...

Катя была в Курье в первый еще раз и с особенным вниманием рассматривала всё кругом, онемев от восторга. Боже, как здесь хорошо... какая избушка малюсенькая... и лес совсем близко, и огонек так весело горит, и кругом вода, а город там далеко, назади и чуть брезжит. Зеленая травка едва еще только пробивалась, а березы и прибрежные кусты стояли совсем голые, но это ничего не значит – кругом разливалась какая-то неудержимая воля, простор и счастье. Петр Афонасьевич был очень рад гостям и тоже удивлялся, что Марфа Даниловна отпустила Катю.

– Я словечко такое знаю, – шутил Григорий Иваныч. – Что же в самом-то деле, девочка трудилась целую зиму, можно и отдохнуть один-то денек. Я сегодня вальдшнепов попугаю на заре, а утром какого-нибудь селезня ушибу... Бывает и свинье праздник, а я теперь вольный казак. С земством я кончил... Дело хорошее, да председатель управы у нас дрянь, а я гнаться не умею.

Клепиков и Яков Семеныч только переглянулись: другой бы голову повесил с горя, что место потерял, а этот радуется и отдыхать хочет. Григорий Иваныч понял их мысль и проговорил со своей улыбкой:

– Ничего, свет не клином сошелся... А я устал. Ах, вы, чиновники: всего-то вы боитесь!.. Ну, да это дело десятое, а вот мы выпьем для новоселья.

Гость привез с собой охотничью флягу, и рыбаки были рады пропустить «по единой», благо и закуска своя.

– Девочки, заваривайте уху! – командовал Печаткин. – Чтобы всё было готово, когда я вернусь с охоты...

– Слушаю-с! – бойко ответила Любочка, делая по-солдатски под козырек, а потом бросилась к отцу на шею. – Милый... миленький... милосенький... ах, как хорошо!.. Катя, а ты что же стоишь? Ведь, если бы не папа, сидела бы теперь дома... Папа, а ты возьмешь нас с Катей на охоту?

– Ну, этого я вам не обещал, деточки... Вы посидите здесь, а я схожу один.

Яков Семеныч перевез Григория Иваныча на лодке через Курью, и охотник скрылся в лесу. Светлого времени оставался всего какой-нибудь час, и Петр Афонасьевич повез девочек осматривать настороженные снасти. Любочка была в восторге, а Катя только морщилась, когда в воде трепетала рыба, попавшая на железный крюк. Она закрывала глаза, когда отец осторожно подхватывал отчаянно метавшуюся в воде рыбу особым сачком и выбрасывал в лодку.

– Папа, ведь ей больно?..

– У рыбы холодная кровь... Она не чувствует.

– Отчего же она так бьется?..

– Гм... А кто её знает. Ну-ка, сколько сегодня попало на ваше счастье...

Кате правилось больше всего хозяйничать на берегу. Она забралась в избушку и привела здесь всё в порядок, даже подмела пол.

– Я бы согласилась всегда жить в такой славной избушке... всю жизнь! – фантазировала восторженно настроенная Любочка. – Только неприятно, когда живую рыбу снимают с крючков. Даже кости хрустят... Потом у рыбы такие страшные глаза. И знаешь, отчего? Потому что у рыбы нет бровей и ресниц. А тебе нравится здесь?

– Очень...

Катя больше молчала, потому что привыкла сдерживать свои чувства. Ей всё казалось, что вот-вот чем-нибудь нарушится этот блестящий праздник. Давеча ей тоже хотелось бро-

ситься на шею к Григорию Иванычу, но она удержалась, как удерживалась и сейчас откровенно выражать свой восторг.

– Нам двоим совершенно достаточно такой избушки, – продолжала свою мысль Любочка.

– В лесу одним жить страшно, Любочка. А вдруг разбойники?

– А я возьму у папы ружье – и паф!..

В этот момент в лесу прокатилось громкое эхо выстрела, и Любочка с ужасом закрыла глаза. Катя вся вздрогнула. Зачем Григорий Иванович стреляет? Неужели ему не жаль бедную птичку? И кровь у птички горячая... Мысль об убитой птице на целый вечер запала в голову Кати, и, когда Григорий Иваныч вернулся, она с удивлением посмотрела на него, точно это был другой человек. Зато Любочка была в восторге от пары убитых вальдшнепов и уверяла, что, когда вырастет большая, непременно будет ходить сама на охоту.

Всё-таки вечер прошел замечательно весело. Яков Семеныч развел громадный костер, не жалея заготовленных дров. Это была иллюминация «по случаю дорогих гостей».

– Ну, женщины, всё готово? – строго командовал Григорий Иваныч.

Варить уху, да еще прямо на костре – дело нелегкое, и девочки хозяйничали под руководством Якова Семеныча. Вероятно, еще никто в мире не ел такой вкусной ухи из молодых налимов... Вальдшнепов Григорий Иваныч приготовил сам и зажарил прямо в горячей золе, как делают охотники. Этот роскошный ужин продолжался чуть не до полночи. Ночь была такая теплая, хотя с реки и потягивало резким холодком. Катя проводила еще первую ночь в лесу и превратилась в одно внимание. Ей казалось, что Шервож далеко-далеко и что они никогда не вернуться в него. А как весело горит огонь, какие все хорошие, и как, вообще, хорошо жить на свете, когда есть такая хорошая река, как Лача, такой хороший дедушка, как Яков Семеныч, и папа, Григорий Иваныч – и все и всё хорошее!

– Григорий Иваныч, зачем вы птичек застрелили? – тихо спрашивала Катя, глядя ласковыми глазами на учителя. – Им больно...

– Да, это жестокое удовольствие, деточка... – ласково отвечал Григорий Иваныч, подсаживая Катю к себе. – Видишь ли, было время, когда люди существовали одной охотой. Это была необходимость... А теперь остался охотничий инстинкт. Да... В каждом удовольствии, деточка, скрыта какая-нибудь жестокость.

Дальше для Кати всё покрылось каким-то сладким туманом: она и видела и не видела сидевших пред огнем людей, слышала их разговоры и собственные мысли, и кому-то улыбалась, и чувствовала, как чья-то любящая сильная рука заботливо прикрывала её теплым пальто, а потом она точно унеслась. Из этой дремоты её вывел страшный звук: по реке точно ползло какое-то чудовище, отпыхивая и тяжело шлепая громадными лапами.

– Это пароход... – объяснил какой-то голос, указывая на зеленые и красные огни, мелькавшие в темноте. – Ночью все звуки усиливаются.

Заснувших девочек Григорий Иваныч на руках перенес в избушку и уложил на рыбачьих нарах. Он любил детей и теперь долго любовался детским крепким сном. Какие милые девочки и как они хорошо спят: так и распускаются на руках!

– Что-то вас ждет, маленькие милые женщины? – вслух подумал Григорий Иваныч и нахмурился.

Огонь догорал. Григорий Иваныч растянулся на земле и наслаждался тем ощущением полноты, какое дает одна природа. Клепиков отправился в Курью осматривать снасти. Яков Семеныч дремал, сидя на обрубке дерева и посасывая свою трубочку.

– А ведь мы скверно живем, дедушка... – заговорил Григорий Иваныч, вздыхая всей грудью. – Очень скверно... То-есть собственно – и не живем, а только платим за квартиру, в мелочную лавочку, портному, дровянику, мяснику. У нас искусственная жизнь, интересы, удовольствия, радости, и за это мы платим тяжелым разочарованием... Мне вот сейчас так

жаль девочек: что-то их ждет впереди? Сейчас они спят так беззаботно, а там где-то впереди уже зреет и горе, и слезы, и неприятности.

– Без этого не проживешь, Григорий Иваныч...

– А мне всё-таки жаль! Вот сейчас я чувствую себя таким сильным, гору, кажется, своротил бы, а вместе с тем, ничего не поделаешь: может быть, они вспомнят десять раз Григория Ивановича, а его уже нет. В трудную минуту дорого хорошее теплое слово, а его-то и не будет... Так я к тому говорю о девочках, что на женщине всего сильнее отзывается всякая несправедливость и фальшь. Нужно жить просто, уметь ограничить себя в каждой мелочи, и только тогда человек делается полным хозяином самого себя, когда он ни от кого не зависит.

– Уж это, конечно... – соглашался Яков Семеныч. – Прежде-то куда проще жили. Это вы правильно, Григорий Иваныч...

– Счастье не в том, что у меня будут и дорогие ковры, и мебель, и свои лошади, и много прислуги, – нет, не в этом... Ведь я не съем вчетверо больше, не буду спать вдвое больше... Счастье там, в глубине собственной совести... в сознании... в правде...

Эти душевные простые речи слушало чуткое детское ухо, и они глубоко западали в детскую душу, как хорошее, полное зерно, которое сеятель бросал на хорошую землю. Любочка спала мертвым детским сном, а Катя лежала с открытыми глазами. Ей хотелось плакать и обнимать Григория Иваныча, и, вместе, она боялась проявить свои детские чувства.

VIII

Потеряв место в земстве, Печаткин не унывал, хотя найти новое в провинциальном городе и было трудно. Во всех присутственных местах уже знали его неуживчивый, строптивый характер, и везде получался вежливый отказ. Григорий Иванович мрачно улыбался, крутил свои рыжие усы и, сделав несколько дней передышки, писал новое прошение, чтобы получить новый отказ.

– Надоест когда-нибудь им отказывать, – шутил он.

А дома уже начала теснить нужда. И то нужно и это нужно, а денег не было. Ужасное это слово: нужда... Анна Николаевна крепилась, не жаловалась и колотилась, как рыба об лед. Всё, что можно было заложить, было заложено, кое-что продано, а нужда всё росла... Когда приходилось особенно тошно, Анна Николаевна отправлялась к Клепиковым, чтобы отвести душу с Марфой Даниловной. Всё же на людях как будто и легче.

– Не понимаю я вашего Григория Ивановича, – повторяла Марфа Даниловна, покачивая головой. – Уж, кажется, умный мужчина, а вот с гордостью своей не может поправиться... И всё от гордости. Вы бы поговорили ему, Анна Николаевна. Ну, пошел опять в земство, извинился, а повинную голову и меч не сечет. Ведь надо жить как-нибудь, а у вас трое детей на руках...

– Прямо сказать, Марфа Даниловна: есть нечего. Вчера за ужином один черный хлеб...

– Вчуже страшно... Что же он-то?

– Всё то же: пишет свои прошения.

Анна Николаевна, несмотря на свою бедность, ни разу не пожаловалась на мужа: она верила в него. Да и не в первый это раз... Марфа Даниловна могла только удивляться её терпению. Нахлынувшая на Печаткиных беда на время охладила отношения семей между собой. Клепиковы и помогли бы, да самим было до сопя: едва сводили концы с концами. А дать пустяки совестно... Это была жестокая проза, от которой делалось жутко всем.

А время шло. Наступало лето. Григорий Иванович ходил в грязных крахмальных сорочках и в одном сюртуке. От недавнего довольства не осталось и следа, точно оно растаяло. Даже Анна Николаевна приходила в отчаяние, главным образом за ребятишек, которые и голодали, и обносились, и выглядели такими жалкими. Только в середине лета Печаткин нашел какое-то место в паровой компании «Ласточка», но и здесь прослужил всего недели две. Он не мог выносить канцелярских плутней и вообще хамства. Впереди оставалась одна нищета. Катя теперь реже бывала у Печаткиных, но своими глазами видела, что такое бедность и нищета.

– Мама, у них нет ни чаю, ни сахара... – рассказывала она матери. – Я буду отдавать свой сахар маленькой Соне.

– Перестань вздор говорить, а впрочем, как знаешь. Еще обидятся на тебя же... Ведь не нищие, чтобы кусочками принимать. Конечно, беда со всяким может стрястись, а и их тоже нельзя похвалить: он – гордец, она – не хозяйка.

– Нехорошо осуждать людей в несчастье, – строго вступился случившийся дома Петр Афонасьевич. – Все под богом ходим... Сегодня сыты, а завтра неизвестно. Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу...

– Да ведь я так... – смутилась Марфа Даниловна. – К слову сказала. Не нашего ума дело.

– Вот так-то лучше, мать... А ты, Катя, делай, как знаешь.

Петр Афонасьевич потихоньку от жены не раз помогал Печатакиным и деньгами, вырученными за рыбу, и натурой, т. е. той же рыбой. Самому ему было неловко являться благодетелем, и он посылал обыкновенно Якова Семеныча. На старика не могли обидеться, да он и сам умел устроить всё так, что никто не замечал благодеяния.

– Мало ли что бывает, Анна Николаевна, – уговаривал старик горевавшую столбовую дворянку. – Нужно терпеть, – даст бог, и справитесь...

– Ох, и не говорите, Яков Семеныч! Добрых людей стыдно...

Да, беда не только постучалась в дверь, но вошла в дом и заглянула в каждый угол. Маленький Гриша почти целое лето перебивался в Курье, где помогал рыбакам в их работе вместе с Сережей и таким образом пропитывал себя своей работой. Мальчикам ужасно понравилась эта жизнь в лесу. Они загорели, поздоровели и заметно выросли за одно лето. Раз в Курью приехал Григорий Иваныч, такой задумчивый и молчаливый. Он ужасно похудел, осунулся и точно сделался еще выше. Старый Яков Семеныч долго глядывался в него, хмурился и бормотал что-то про себя, а потом не выдержал и заговорил:

– Нехорошее у вас на уме, Григорий Иваныч...

Печаткин даже вздрогнул и посмотрел на старика округлившимися от испуга глазами: Яков Семеныч точно подслушал его отчаяние.

– Дедушка, тошно мне... – тихо ответил Григорий Иваныч, хватая голову руками. – Ах, как тошно... И за что?.. Кому я сделал зло? Не умею быть хамом – вот вся моя беда. Не люблю подслуживаться, говорю правду, не даю другим подличать... Да. Что же делать, если я не могу иначе... И семья жаль, и себя, и тошно мне... Лег бы – и умер.

– Устроится всё понемножку. Не кто, как бог...

Разговорил старик горевавшего, успокоил, пожурил и отправил домой сам. А у Григория Иваныча, действительно, было нехорошее на уме: хотел он броситься в воду. Горе сломило и его. Не мог он видеть голодавшей из-за него семьи.

– Ну, спасибо, старина, – благодарил Печаткин, когда они подплывали к Шервожу. – В некоторое время, может быть, и я пригожусь.

– Богу нужно молиться, Григорий Иваныч... Оно и полегчает, и еще как. Со слезами нужно молиться. Есть несчастнее нас, а вы о детях думайте.

– Да, да. Спасибо...

Простившись со стариком, Печаткин поднялся на гору, посмотрел на широко разливавшуюся Лачу и вздохнул свободнее. И небо точно выше, и пароход снизу так весело бежит, и лодочка-скорлупка Якова Семеныча там внизу чуть виднеется... Печаткину сделалось вдруг страшно за самого себя. Что он мог надумать... Точно туман какой в голове стоял, в груди тяжесть и такая злоба против всех. Даже детей своих как-то сделалось не жаль: что жалеть, когда ничем помочь не может! Да еще хвастался раньше: я – то, я – другое... Нет, это была минута ужасного сумасшествия.

Дело было к вечеру, и Печаткин зашел в старинную приходскую церковь, где шла служба. Богомольцев было немного. Всё больше старушки да какие-то сомнительные субъекты. Григорий Иваныч стал в уголок и наблюдал. Он давно не бывал в церкви. Всё как-то некогда... Служил один священник без дьякона. На клиросе пел один псаломщик. Церковь была небогатая и освещена мало. Последнее придавало какую-то особенную торжественную таинственность. Сначала Григорий Иваныч не мог молиться. Что-то его удерживало. Какой-то таинственный голос шептал ему: «Тебе было хорошо, и ты забывал церковь, а стало худо – и пришел»... А как здесь всё знакомо: и возгласы священника, и церковные мотивы, и молитвы – с детства знакомо. И везде одно и то же, по всей России, от одного океана до другого... Стомиллионный русский народ несет свое горе и радость вот сюда, и будут читать те же молитвы, будут раздаваться те же церковные мотивы, когда и Григория Иваныча не будет на свете. Печаткин почувствовал вдруг себя таким маленьким и таким виноватым, как напроказивший ребенок. И тепло какое-то почувствовалось, и надежда, и, главное, спокойствие.

– Ах, я безумец, безумец! – шептал Григорий Иваныч, чувствуя, как начинает оттаивать; вероятно, замерзавший человек, которого внесли в теплую комнату, испытывает подобное же чувство. – Господи, прости меня...

Он забылся в горячей молитве и не чувствовал слез, катившихся по лицу. Когда он опомнился, рядом с ним очутился какой-то мещанин в пиджаке. Этот богомолец стоял на коленях и

с каким-то ожесточением откладывал земные поклоны, встряхивая свешивавшимися на глаза волосами. Григорий Иваныч видел только, что это очень здоровый мужчина, с такими сильными руками и крепким затылком.

«Должно быть, у него тоже есть горе...» – подумал он невольно.

Служба кончилась. Григорий Иваныч вышел на паперть и столкнулся с тем же мещанином, который стоял в раздумье. Они только теперь взглянули друг на друга и поняли без слов общее настроение.

– Что, брат, плохо? – спросил Григорий Иваныч.

– Хуже не бывает... – глухо ответил мещанин.

Оба замолчали и пошли вместе. Незнакомым людям, конечно, трудно разговаривать сразу, а Григория Иваныча так и подмывало узнать, в чем дело. Они молча дошли до парходных пристаней. Мещанин остановился у одной конторки и бесцельно смотрел на сутившуюся толпу, – только-что пришел снизу парход, и набережная кишела народом. Григорий Иваныч закурил папиросу.

– Ведь этак-то живого человека можно и живота лишить... – заговорил вдруг мещанин, не обращаясь собственно ни к кому. – Брат и говорит мне: «твоя расписка, тебе и отвечать». И я гляжу: моя... А не писал, то-есть не я её писал. Ну, теперь на окружной суд за подлог, а моей причины никакой нет... У меня тоже семья, детишки...

Он говорил быстро, таким тоном, точно все должны были знать про его мещанское горе. Сначала дичился чужого человека, а тут прорвало: хоть и чужой человек, а всё же как будто и легче, когда выговоришься.

– Так, так... – повторял Григорий Иваныч, вслушиваясь в бессвязную речь своего собеседника.

– Главное: зачем брат меня обидел, господин? Ну, вышла такая моя ошибка, ну, беда навалилась, а он на меня же... Хуже чужого. Ведь мне теперь разор... Всё прахом пойдет. На подсудимую скамью посадит... срам... Ну, суди: весь тут. Дома ничего не осталось... А вот брат...

– Вот что я скажу тебе, милый человек: брат тут не при чем. А ты приходи завтра утром ко мне, и мы всё это дело разберем. Я теперь свободен и ничего не возьму с тебя...

Мещанин отнесся недоверчиво к этому предложению, заподозрив в Печаткине одного из тех мелких ходатаев по делам, которые ловят своих клиентов прямо на улице. Но, подумав немного и тряхнув головой, он согласился.

– Отчего же не притти – приду. Хуже всё равно не будет.

– Там увидим.

Григорий Иваныч простился с ним и быстрыми шагами направился домой. Он ужасно торопился, точно боялся не донести того хорошего настроения, которым был переполнен. А если Анны Николаевны нет дома? Ему хотелось видеть сейчас именно жену, чтобы поделиться с ней охватившим его чувством.

К его счастью, Анна Николаевна была дома. Маленькая Соня уже спала, а Любочка сидела за книжкой – девочка очень любила читать.

– Что с тобой? – испуганно спрашивала Анна Николаевна, оглядывая мужа. – На тебе лица нет.

– Ах, Аня, Аня...

Он обнял её, крепко расцеловал и, усадив рядом с собой на диван, принялся рассказывать всё, что с ним случилось. Он ничего не скрыл, и Анна Николаевна горько разрыдалась, когда узнала, как близко было непоправимое несчастье. А какой хороший дедушка: даже она ничего не заметила, а он заметил.

– Теперь всё другое будет, Аня... Снова заживем, и еще как заживем!

Дальше следовал рассказ о том, как Григорий Иваныч зашел в церковь, как молился мещанин, как они разговорились с ним на пристани. Анна Николаевна ничего не могла понять. Ей казалось, что муж сошел с ума.

– Не понимаешь? – нетерпеливо спрашивал Григорий Иваныч.

– Нет... Мало ли дел у мещан бывает? Нам-то какая забота...

– Ах, Аня, Аня... Да понимаешь ли ты, что говорю я с мещанином, а сам соображаю, как ему помочь. Ведь я эти законы знаю... Ну, и вдруг мне мысль: отчего я не сделаюсь частным поверенным? Понимаешь? И ведь не пришло раньше в голову... Правду сказать, не люблю я этих кляуз, да ведь от меня будет зависеть, какие дела брать. И полная независимость... Понимаешь? Чорту не брат... И как это раньше мне не пришло в голову! А сколько можно добра сделать... И, главное, ведь это мое дело. Ах, какой я дурак был! Правду говорит пословица: век живи, век учись, а дураком умрешь.

Анна Николаевна всё-таки не поняла мужа и отнеслась к его радости с большим недоверием.

Ровно через месяц на воротах дома, где квартировали Печаткины, появилась небольшая вывеска: «Ходатай по делам Г. И. Печаткин». Первым клиентом был тот самый мещанин, с которым Григорий Иваныч встретился в церкви – его дело было выиграно. За ним появились другие, главным образом разная беднота. Григорий Иваныч брал всякое чистое дело, не спрашивая о вознаграждении. Бедный и благодарный люд разнес молву по всему городу о новом адвокате. Дела Печаткиных быстро поправились, так быстро, что все знакомые только удивлялись.

– Молодчина, Григорий Иваныч, – хвалил Петр Афонасьевич, искренно радуясь успеху Печаткина. – Давно бы ему в адвокаты пойти... Ведь золотая голова.

Странно, что Марфе Даниловне точно было неприятно, что Печаткины так быстро поправились. И всю новую мебель завели, и ребяташек приодели, и заложенные вещи выкупили – одним словом, разжились.

IX

Катя и Любочка поступили в гимназию, когда братья перешли уже в третий класс. Девочки превратились, в свою очередь, в «первоклашек». Их поступление уже не было событием, и на него смотрели, как на дело самое обыкновенное: ну, что же такого особенного – поступили и будут учиться, пока достатку хватит. Это ведь совсем не то, что Сережа и Гриша. Какое девичье ученье... Тоже вот и относительно формы небольшая забота: коричневое люстриновое платье, люстриновый черный передник и белый парадный – вот и всё.

– Сколько поучишься, а там увидим, – говорила Марфа Даниловна, довольно равнодушно оглядывая дочь в новой гимназической «форме». – Вот только бы Сережу поднять на ноги, а там...

Обыкновенно Марфа Даниловна не договаривала, что будет в этом таинственном там. Теперь обе семьи жили надеждами на будущее, и это будущее воплощалось для них в двух гимназистах третьего класса. Собственная жизнь, с её мелкими заботами, дразгами и неустанным трудом, как-то отходила на задний план. Девочки поневоле усваивали себе этот же взгляд и смотрели на самих себя, как на какое-то косвенное дополнение к братьям.

Начальницей женской гимназии в Шервоже была очень добрая, немножко сгорбленная старушка Анна Федоровна Чемезова, которая пользовалась большим уважением со стороны своих воспитанниц. Встречаясь с начальницей в коридоре, Катя делала ей реверанс с особенным удовольствием, как проделывала и вообще все маленькие церемонии своей новой обстановки, придававшие ей некоторое официальное значение. «Екатерина Клепикова, завтра ваша очередь быть дежурной в классе», – говорила ей полная классная дама Поликсена Карловна. И Екатерина Клепикова переживала каждый раз какое-то особенное волнение, сознавая громадность возложенной на неё ответственности. В следующем, втором классе классной дамой была Евгения Александровна, совсем высохшая, как щепка. Вообще все классные дамы делились на очень полных и очень худеньких. Катя и Любочка, конечно, поместились на одной парте и в несколько дней до мельчайших подробностей усвоили все порядки своей гимназии. Девочки, вообще, жили очень дружно и перенесли свою детскую дружбу в стены гимназии. Отец давал Любочке каждый день «священный пяточок» на булку в большую перемену, и Любочка делилась своим завтраком с Катей, которой денег не полагалось.

Любочка была такая смешная в своей форме. Полное круглое лицо так и дышало каким-то задорным здоровьем. Она была неизменно весела и часто платилась за это. Белокурая Катя рядом с ней казалась такой тоненькой и всегда сидела так прямо, точно восковая куколка. Поликсена Карловна постоянно ставила m-lle Клепикову в пример m-lle Печаткиной, когда последняя во время класса наваливалась грудью на парту, горбилась или начинала болтать своими толстыми ногами. Наконец m-lle Печаткина иногда, заслушавшись, сидела с раскрытым ртом, что превращало Поликсену Карловну в телеграфную станцию, потому что ей приходилось, не прерывая урока, обратить на себя внимание зазевавшейся ученицы разными телеграфными знаками. Раз Любочка даже заснула самым бессовестным образом, за что ей очень досталось.

– Это всё из-за тебя! – обвиняла Любочка Катю за все свои злключения. – Я не виновата, что ты умеешь сидеть, как замороженная рыба. Непременно перейду на другую парту...

Первым предметом для внимания новичков были, конечно, классные дамы, о которых Марфа Даниловна и Анна Николаевна получили самые точные сведения.

– Худенькая сердитее, – объясняла Катя.

– Да вы хоть кого сведете с ума, – ворчала Марфа Даниловна. – Разве это хорошо, что вы, девчонки, называете классных дам синявками?

– Это, мама, уж всегда так бывает, потому что все классные дамы ходят в синих платьях... Мы не виноваты.

– И всё-таки глупо!..

– А если они сердятся – ну, и выходят синявки!

– Перестань глупости болтать.

С гимназистами у девочек шел нескончаемый спор относительно начальницы: гимназисты отстаивали своего генерала «Не-мне», а девочки Анну Федоровну.

– Она добрая, добрая, добрая!.. – выкрикивала Любочка с азартом. – Войдет в класс всегда тихонько... Ласковая такая, вежливая, а ваш «Не-мне» кричит, как индейский петух, бранится и даже ногами топает.

– Ну, это пустяки, – спокойно возражал Сережа, усвоивший себе некоторые солидные привычки. – Что из того, что старик немножко погорячится? Зато он никого не выгоняет из гимназии и всегда за нас... Только нужно всё говорить ему откровенно.

– И у нас откровенно!..

– Перестань, Сережа, – останавливал Гриша. – Разве девчонки могут что-нибудь понимать?

Как крайнее средство для доказательства превосходства своего генерала «Не-мне», гимназисты пускали в ход его звезду.

– Ну-ка, где у вашей Анны Федоровны звезда?.. То-то вот и есть, а туда же, спорите...

Девочки смущались, не знали, что сказать, и только раз Любочка нашлась:

– Я видела как-то вашего «Не-мне» в полной форме: настоящий иконостас.

Между мужской и женской гимназиями существовала органическая связь, начиная с того, что там и здесь встречались одинаковые фамилии. Так, в первом классе женской гимназии училась Болтина, дочь богатого пароходчика, и красавица Ключковская, а в старших классах Гавлич. Только здесь богатые и бедные ученицы стояли еще дальше друг от друга, чем в мужской гимназии. У мальчишек слишком много всеуравняющей драчливости и общемальчишеских глупостей, что в школьный период до некоторой степени сглаживает разницу общественного положения. Девочки, наоборот, сторонились инстинктивно, благодаря более раннему развитию, чуткости и наблюдательности. Замкнутое комнатное воспитание развивало известную мелочность характера, и самые маленькие «приготовишки» отлично понимали эту разницу. Каждая пуговка, каждая ленточка, каждая новая тетрадка были на счету. Притом девочки из богатых семей сторонились от «дочерей кухарок и прачек», по строгому наказу своих маман, гувернанток и бонн – они не должны были смешиваться с этой безличной толпой и в гимназии являлись дорогими гостями.

– Женя Болтина съедает в большую перемену три бутерброда и целую французскую булку, – откровенно завидовала Любочка, страдавшая прекрасным аппетитом. – Если бы я была богатая, так я уплетала бы по две булки...

Главную зависть в бедных гимназистках возбуждало то, что богатые приезжали в гимназию на собственных прекрасных лошадях. Да и как было не завидовать, особенно осенью, когда приходилось шлепать по непролазной грязи откуда-нибудь из дальних улиц!

Из учителей были тоже старые знакомые, как Павел Васильич Огнев, известный гимназисткам по рассказам братьев... Он в младших классах преподавал русский язык, а в старших – словесность. Катя сначала ужасно его боялась, а потом убедилась, что в нем не только не было ничего страшного, а напротив, это был очень добрый человек по натуре. Он был высокого роста, с немного одутловатым лицом и близорукими, выпуклыми глазами, придававшими ему сердитый вид; длинные белокурые волосы редко были причесаны гладко, и синий бархатный воротник мундира всегда был засален. Огнев душой любил свой предмет, постоянно горячился и терпеть не мог плакс. Гимназистки потихоньку подсмеивались над засаленным воротником его мундира, над его красными руками и произношением на «о», но за всем тем Огнев поль-

зовался большим авторитетом, как человек справедливый, не мирволивший богатым ученицам, которых он называл «тепличными растениями». В обеих гимназиях он почему-то был известен под названием «Бедной Лизы»; когда и кто дал это глупое название – неизвестно, но оно неизменно переходило от одного курса к другому. Незадолго до поступления наших девочек в гимназию у Огнева умерла жена, и он пользовался особенным вниманием всех женщин, маленьких и больших. На время были позабыты и его засаленный воротник, и нечесанные волосы, и красные руки, и несчастная буква «о».

Огнев славился, как хороший чтец. С младших классов он читал своим ученицам стихи любимых авторов и производил известное впечатление.

– Есть мысли и чувства, которые не укладываются в будничные фразы, – ораторствовал Огнев в первом классе. – Есть явления природы, которые поражают нас, и мы можем говорить о них только стихами, чтобы вполне выразить наше настроение. Например, вот как поэт описывает Волгу:

Как слезу любви из ока,
Как холодный пот с чела,
Волгу-матушку глубоко
В море Каспий пролила!..

Кате ужасно нравились всякие стихи, а эти она относила прямо к родной Лаче, вспоминая свою поездку с Григорием Иванычем в Курью.

Но всех больше Кате нравился батюшка о. Евгений. Это был среднего роста худенький священник с редкой рыжей бородкой и печальными голубыми глазами. Он приходил в класс в такой старенькой ряске и должен был отдохнуть, прежде чем мог начать урок. Голос у него был слабый и глухой. Все знали, что у о. Евгения чахотка и что он скоро умрет. На его уроках стояла мертвая тишина, потому что никто не умел рассказывать так трогательно, как о. Евгений. Любочка часто плакала, да и сам о. Евгений говорил со слезами на глазах. Он никогда не сердился и всем ставил хорошие баллы. Катя с первого раза прониклась к нему каким-то чувством благоговения и перед каждым уроком терпеливо ожидала его где-нибудь в коридоре, чтобы подойти под благословение. О. Евгений благословлял её, гладил по головке и так хорошо смотрел своими голубыми глазами.

Вообще, поступив в гимназию, Катя разделила всех людей на две неравных половины: на одной стояли гимназические учителя, классные дамы и Анна Федоровна, как что-то особенное, а на другой – все остальные. Это чувство прошло с ней через всю гимназию, и после гимназии она долго не могла освободиться от него.

Х

В жизни все явления и все люди связаны между собой невидимыми для глаза нитями. Эта внутренняя глубокая связь раскрывается только при исключительных случаях, когда точно обнажается внутренний остов этих отношений. Например, что проще рождественской ёлки, а между тем в жизни маленькой Кати и такой же маленькой Любочки первая такая елка, устроенная в гимназии, являлась целым событием. Много было потом других елок, а первая была одна.

– Мама, мама, у нас в гимназии будет елка!.. – еще за две недели до рождества объявила Катя матери. – Большая елка... И всем будут подарки. Будет музыка, большие гимназистки будут танцевать... Ах, мама, мама, как будет весело!..

– Напрасно только балуют девчонок, – сухо заметила Марфа Даниловна, не любившая пустяков. – Елки только для богатых устраиваются...

У Клепиковых никогда не устраивалось елки и у Печаткиных тоже, поэтому две девочки ожидали наступления рокового вечера с замиранием сердца. Что-то будет... ах, что будет! Гимназисты втайне им завидовали, но старались показать, что такие пустяки их совсем не интересуют.

– Это телячьи нежности! – угрюмо заметил Сережа.

– Да ведь там все будут, Сережа, – задыхаясь от радости, объясняла Катя.

– Все вы глупые, вот и радуетесь...

Торжество было устроено на второй день праздника. В актовом зале стояла громадная елка, украшенная горевшими свечами, золочеными орехами, дешевенькими подарками и разной мишурой. Маленькие девочки в белых передниках были вне себя от радости. Это какой-то волшебный вечер... И все такие добрые, решительно все. А как хороши эти разноцветные фонарики, бонбоньерки, пакетики с сюрпризами, большие конспекты... Катя и Любочка были точно в чаду и всё время ходили обнявшись. Учитель географии, чахоточный господин, играл на рояли что-то необыкновенно хорошее, потом пел хор гимназисток, потом села за рояль худенькая Евгения Александровна, и начались танцы. Нет, всё это было ужасно весело, и можно только пожалеть, что такие вечера не повторяются.

– Тебе весело, крошки? – спрашивала начальница Анна Федоровна, передавая Кате зеленую бонбоньерку.

– Ах, очень, очень весело, – ответили в один голос Катя и Любочка.

Маленьких девочек угощали сладостями, потом был чай с кондитерским печеньем, фрукты – одним словом, происходило нечто совсем волшебное.

– Знаешь, Катя, я их всех ужасно люблю! – откровенничала Любочка на ухо Кате. – Ведь, если разобрать, так и наша Поликсена Карловна очень добрая... Все добрые!.. И мне хочется всех расцеловать, даже швейцара Воронка!..

Катя чувствовала то же самое, хотя больше всех любила Анну Федоровну. Начальница несколько раз подходила к ней, гладила по голове и расспрашивала, где она живет, есть ли у неё братья, где служит отец. А там в передней и в коридоре ждали с шубами в руках горничные, какие-то старушки и Петр Афонасьевич. Маленьких раскрасневшихся девочек заставляли сначала ходить по коридору, чтобы они немного прохладились, потом закутывали в шубки и теплые платки и развозили по домам. Гимназистки старших классов оставались дольше: у них только что начинались настоящие танцы, для которых были приглашены гимназисты и реалисты тоже из старших классов. Кате и Любочке не хотелось уезжать в самый разгар праздника, но приходилось повиноваться. Петр Афонасьевич сам одел обеих девочек и повез их на извозчике по домам, – это, кажется, было в первый раз, что он ехал на извозчике. Всю дорогу

девочки щебетали, как воробьи, и всё выпрастывали голые ручонки, чтобы показать полученные подарки.

– Ну, шабаш, я больше вас не повезу на бал... – добродушно ворчал Петр Афонасьевич, заразившись этим маленьким счастьем. – Еще носы себе отморозите, шалуны.

Катя до боли хорошо чувствовала, как её любит отец, и ласково прижималась к нему всем своим маленьким тельцем, точно пригретый котенок.

Разговоров о рождественской елке хватило на целый месяц, и девочки припоминали всё новые подробности, ускользнувшие в общем вихре впечатлений. Благодарная детская память удержала всё. Катю огорчало только равнодушие матери, относившейся скептически к её детским восторгам. Другое дело Григорий Иваныч – тот сам готов был прыгать со своими любимцами. Катя просто бредила начальницей гимназии, и в ней всё ей нравилось, начиная от её темносинего платья и кончая тихим голосом и неслышной старческой походкой. Старушка и улыбалась так хорошо своей сдержанной, немного печальной улыбкой. Катя старалась учиться изо всех сил и скоро была в числе первых учениц.

– Учиться хорошо следует, милочка, только не следует увлекаться отметками и наградами, – объясняла ласково Анна Федоровна. – Ты такая худенькая, крошка, а здоровье нужно беречь. Всякий должен трудиться по своим силам.

Любочка поленивалась от избытка здоровья и обвиняла в своих неудачах Катю. В самом деле, не вылезти же из своей кожи Любочке, когда навяжутся такие зубрилки, как m-lle Клепикова. Рассердившись, Любочка всегда навеличивала подругу «mademoiselle».

Катя быстро подрастала и «выравнивалась», как говорила Анна Николаевна. У неё уже образовался свой детский мирок, в котором она жила своею маленькой жизнью. Самым любимым удовольствием для неё было ходить в женскую общину по субботам ко всеобщей. В субботу заканчивалась трудовая гимназическая неделя. Катя складывала свои книжки и тетрадки в строгом порядке, прибирала комнату, осматривала; свое платье и с нетерпением начинала ждать дедушку Якова Семеныча, который приходил по субботам ровно в пять часов. Они пили чай, а потом отправлялись.

– Ну, Катя, идем богу молиться, – говорил старик каждый раз одну и ту же фразу, натягивая на себя шубу. – Шесть дней делай, а седьмой господу богу твоему.

Когда они выходили на улицу, было уже совсем темно, – зимой рано темнеет. Веселая улица едва освещалась редкими фонарями. Кате нравилось итти именно в этой темноте, хотя она и боялась большой и пустынной площади, которая отделяла собственно город от общины. Зато каждый раз она испытывала такое хорошее, теплое чувство, когда подходила, с дедушкой к святым воротам. Вот и фонарик тлеет золотой искоркой, и сестра-вратарь встречает их низким поклоном, а дедушка опускает свою стариковскую копеечку в монастырскую кружку. Из святых врат, расписанных сплошь деяниями угодника и святителя Николая, теплый коридор вел в маленькую зимнюю церковь-теплушку. В главном соборе служили только летом. Какое-то особенное чувство охватывало Катю, когда она попадала под эти низкие каменные своды, в толпу богомольцев. Маленькая церковь была такая чистенькая, монахини ходили неслышными шагами, как черные тени, а там, вместе с синеватым дымом, поднималось такое стройное пение. Яков Семеныч всегда надевал военный мундир и всё время службы стоял, вытянувшись в струнку. Катя становилась рядом с ним и усердно молилась хорошей детской молитвой. Маленькие послушницы в островерхих бархатных черных шапочках ходили мимо такими же неслышными шагами, как большие монахини, и на ходу низко опускали глаза. Кате особенно нравилась одна, которая на середине церкви читала шестопсалмие таким чистым и звонким голосом. И лицо у неё было такое красивое, бледное-бледное, с удивительными серыми глазами – это был какой-то черный ангел. Катя заочно полюбила красавицу-послушницу и испытывала приятное чувство, когда та проходила мимо. На клиросах мелькали десятки таких островерхих шапочек, и Катя про себя жалела маленьких черничек. Она слыхала от матери, что

эти девочки – круглые сироты и что им очень тяжело, особенно в великий пост, когда служба такая длинная. Служил всегда о. Евгений своим глухим голосом, и Кате казалось, что кругом неё делается что-то неземное. Жизнь с её заботами и суетой оставалась там, за каменной монастырской стеной, а здесь творилось что-то особенное, что делает всех и лучше, и справедливее, и добрее. Не любила она только монастырского дьякона, который портил впечатление и своей громадной неуклюжей фигурой и страшным басом. Иногда он заходил на клирос, и дьяконский бас перекашивался под низкими сводами с глухим рокотом. К довершению всего, этот ужасный человек оказался знакомым Якова Семеныча. Он раз подошел после службы к старику, хлопнул его по плечу и на всю церковь спросил:

– Ну, как поживаешь, служба?..

– Он добрый, этот дьякон, – объяснял Яков Семеныч. – Только вот голос у него – как из пушки выстрелит...

В следующий раз Катя внимательно рассмотрела некрасивое дьяконское лицо и убедилась, что он, действительно, добрый – глаза добрые и улыбается так, хорошо. Но всё-таки Катя продолжала его не любить: зачем он такой большой и говорит так громко?

Возвращались домой в такой же темноте. Дедушка иногда брал с собой фонарик, но редко доносил огонь до дому: одно стекло было с изъяном, и ветер гасил свечу. Старик четвертый год собирался вставить новое стекло, да всё как-то руки не доходили.

В воскресенье Катя ходила с бабушкой в ту же общину к обедне. Днем служба не производила на неё такого впечатления. Раз, выходя из монастырской церкви, Катя неожиданно встретила с Анной Федоровной в коридоре. Начальница разговаривала с какой-то пожилой «манатейной» монахиней. Катя сделала реверанс.

– Ах, это ты, крошка? – удивилась старушка, раскланиваясь с Яковым Семенычем, сделавшим ей по-военному под козырек. – А это твой папа, если не ошибаюсь?..

– Никак нет-с, ваше превосходительство! – ответил старик тоже по-военному. – Дедушкой прихожусь...

– Очень приятно, очень... Мы выйдем вместе. До свидания, Агнеса Александровна... Виновата: сестра Агапита.

Пожилая монахиня чуть-чуть покраснела при этом мирском имени и печально улыбнулась. Катя заметила только, что у Агнесы Александровны лицо точно восковое и такие же руки, а глаза темные-темные и большие-большие.

– Так это ваша внучка? – спрашивала монахиня, наклоняясь к Кате и как-то необыкновенно пристально вглядываясь в её лицо своими живыми темными глазами. – Я вижу её, Анна Федоровна, за каждой всенощной... Она так усердно молится.

Кате вдруг сделалось страшно, и она ухватилась обеими руками за бабушкину шубу, а сестра Агапита тяжело вздохнула, и Кате показалось, что у неё на лице выступили слезы. Анну Федоровну ждала лошадь, но старушка пошла пешком, немного прихрамывая на ходу – ей прописан был моцион. День был морозный, но без ветра. Катя раскраснелась на ходу, и Анна Федоровна ласково потрепала её по розовой щеке.

– Это хорошо, что ты любишь молиться, – говорила старушка. – В молитве великая сила... Особенно нам, женщинам, нужно уметь молиться.

Катя почувствовала себя необыкновенно хорошо, точно Анна Федоровна была своя, родная. Ей ужасно хотелось рассказать ей и про Сережу, и про маленького Петушка, и про Курью, и про Григория Иваныча, но Анна Федоровна устала и подозвала следовавшие за ней сани.

– Ну, до свидания, крошка... – говорила старушка, усаживаясь в экипаж при помощи Якова Семеныча. – Я отлично прошла.

– До свидания, ваше превосходительство!.. – еще раз по-военному ответил Яков Семеныч, опять делая под козырек.

– Дедушка, ты зачем называешь Анну Федоровну её превосходительством? – смеялась Катя, когда сани уехали.

– А то как же? Конечно, генеральша... Вообще, отличная, дама. И какая простая... Да ей бы, по её добrote, княгиней следовало быть...

Яков Семеныч был в восторге, что познакомился с самой начальницей, и, встречая где-нибудь на улице её сани, издали раскланивался и каждый раз повторял: «Ну, конечно, генеральша... Сейчас видно!..»

Через несколько времени Катя познакомилась и с монастырским дьяконом, которого встретила у Печаткиных. В маленькой квартире он казался еще больше, а дьяконский бас гудел, как медная труба. Любочка хохотала в соседней комнате до слез и несколько раз выскакивала посмотреть на чудовище.

– Мадемуазель, парле ву келькешоз... – гудел о. дьякон, пугая любопытную гимназистку. – Ле сюкр мон рьень розсюреву...

Смеялся и Григорий Иваныч над этим коверканным французским языком. Сначала о. дьякон пришел по какому-то делу, а потом завертывал просто так, на огонек, как заходят в гости в провинции. Все к нему как-то сразу привыкли, и Любочка прозвала его: отец Келькешоз.

– Силянс, мадемуазель, – добродушно басил добродушный богатырь. – Сивупле пардон...

Григорий Иваныч как-то особенно полюбил монастырского дьякона и целые вечера проводил с ним в бесконечных разговорах. Очень уж прост был дьякон, и сердце у него золотое.

Всего забавнее были их споры, чисто-русские споры – до хрипоты и полного изнеможения. Анна Николаевна почему-то невзлюбила дьякона и никак не могла понять, что в нем находит Григорий Иваныч. Трудно было себе представить два настолько противоположных характера.

– Необразованный он человек, – ворчала Анна Николаевна. – И, наверно, водку пьет...

– Ну, это не наше дело, Аня... А я его люблю, просто так люблю. Как-то веселее на душе делается, когда он в комнату войдет... Бывают такие особенные люди.

XI

Мы не будем описывать жизнь наших героев день за днем, потому что наступил длинный пробел, в течение которого ничего особенного не случилось. Первые впечатления от гимназической жизни улеглись, и всё пошло своим чередом, как заведенные часы. Петру Афонасьевичу вышла прибавка жалованья в пять рублей, но эта прибавка не покрывала всё нараставших расходов. У Григория Иваныча дела шли хорошо, но он не умел беречь нажитые деньги, да, кроме того, потихоньку от всех, часто помогал неимущим клиентам. Лучшим временем для обеих семей было лето, когда все отдыхали и Курья являлась чем-то вроде дачи. К прежней компании присоединился теперь монастырский дьякон, просиживавший с удочкой где-нибудь на берегу целые дни.

Марфа Даниловна и Анна Николаевна по обыкновению оставались дома и часто сходились вместе, чтобы провести время за бесконечными женскими разговорами.

– Когда и время прошло... – удивлялась иногда Анна Николаевна. – Давно ли, кажется, мы с вами, Марфа Даниловна, своих-то угланов в гимназию привели?.. Ох-хо-хо... А уж теперь в шестом классе. Оглянуться не успеешь, как совсем большие вырастут. Хоть одним бы глазком посмотреть на них, на больших-то. Мне всё кажется, что я не доживу... Этак раздумаюсь-раздумаюсь, и даже точно страшно делается.

– Перестаньте, Анна Николаевна... Прежде смерти никто не умрет. Тогда-то и пожить, когда дети большие вырастут. Должны же они чувствовать нашу заботу... На старости лет покоить будут.

– Ох, и не знаю, Марфа Даниловна, как это будет... Ученые-то будут, пожалуй, и не узнают нас. Вон мой-то Григорий Иваныч что говорит: «Аня, всякому до себя, а я ничего не требую от детей... Воспитывая их, мы только платим долг». Вот и поговори с ним. Отец должен страх внушать и почтение, а он вперед говорит: «ничего не требую».

Марфа Даниловна только качала головой.

– Всё женихи растут, – думала вслух Анна Николаевна, перебирая по пальцам Гришиных товарищей. – Выучатся, и женить надо... Бьешься-бьешься, а тут еще какая жена попадет.

– Нас не спросят по нынешнему времени, Анна Николаевна. Ну, да о мальчиках не забота: не хитрое дело невесту найти. вот с девчонками побольше заботы... С богатым приданным сколько невест-то у окошечка сидит, а тут еще наши бесприданницы. Даже и подумать страшно.

– Прежде проще было, Марфа Даниловна...

– Куда проще!..

Будущие бесприданницы были еще только в четвертом классе. Любочка оставалась всё такой же пухлой и розовой, а Катя была выше её ростом и казалась такой жиденькой. У девочек давно проявилась разница характеров, а теперь эта разница иллюстрировалась всё сильнее разными мелочами. Так, в четвертом классе Любочка проявила необыкновенную страсть рядиться. В гимназии стесняла форма, и Любочка ограничивалась тем, что с каким-то ожесточением завивала накаленной шпилькой себе волосы на лбу. Ей частенько приходилось платиться за это невинное занятие, потому что от зоркого глаза Поликсены Карловны ничего не ускользало. Раз Любочка даже была оставлена без обеда, потому что имела неосторожность сжечь на лбу половину волос. Впрочем, Любочке часто приходилось переносить несправедливость.

– Для кого ты рядишься-то, Любочка? – спрашивала Катя, чтобы подразнить подругу. – Если бы еще большие гимназисты обращали на тебя внимание...

– Гимназисты? Очень нужно... – ворчала Любочка. – А просто, мне нравится, и буду завивать волосы, буду носить бантики... Да, нравится, и только. Никому нет дела... А гимна-

зистов я ненавижу. Гимназисты только и знают, что свои уроки, а нас везде дергают: «Любочка, вымой чайную посуду! Любочка, сходи погулять с Соней! Любочка, выгладь себе воротнички...» Мы так же учимся, а тут изволь всё делать.

Дело доходило до открытого сопротивления родительской власти, особенно когда приходилось пришивать какую-нибудь пуговицу к мундиру Гриши или поправлять отставшую подкладку у гимназической шинели.

– Пусть сам пришивает, – отказывалась Любочка, надувая губы. – Это какое-то рабство, мама.

– Люба, как ты матери-то отвечаешь?

– Мамочка, да ведь я же не прошу Гришу пришивать мне тесемки да крючки?..

– Ах, какая ты непонятная: Гриша – мальчик...

– Я сама мальчик! Вот придумали...

У Кати тоже разыгралось несколько историй на эту тему, и она даже была посажена на целый вечер в кухню. Девочка не плакала, но затаила в себе тяжелую ненависть по отношению к мальчишкам, на которых все должны работать. Очень нужно...

Впрочем, Катя скоро одумалась: ведь маме не ослепнуть за работой – она одна обшивала всю семью. Скрепя сердце, она помирилась со своими сестринскими обязанностями и без приглашения пришивала пуговицы и клала заплатки, причем вымещала свое неудовольствие уже на мундире или шинели, швыряя их куда-нибудь в угол. Смутное сознание каких-то особенных обязанностей девочки в семье еще не укладывалось в полудетском понимании.

А гимназисты, между тем, выросли как-то незаметно. Период бабок, бумажных змеев, жеванья резинки, катанья на салазках и драки с «козлишками» миновал навсегда, уступив место другим удовольствиям, интересам и заботам. Сережа вытянулся, сделался таким серьезным и по вечерам любил читать книги, которые приносил из гимназии.

– Что ты читаешь, Сережа? – приставала Катя к брату, когда тот забирался с книгой куда-нибудь в уголок.

– Отстань... Ты еще мала. Читай вон Майн-Рида или Купера.

У Гриши на верхней губе пробивался черный пушок, что доставляло Любочке неистощимую тему для разных выходок. Она любила ходить по комнате и щипать верхнюю губу, чтобы Гриша это видел. Впрочем, рассердить Гришу было довольно трудно. Из задорного драчуна-мальчишки он превратился в добродушного молодого человека и относился к Любочке с самой обидной снисходительностью.

– Скажите, пожалуйста, какой новый ученый открылся! – язвила иногда Любочка, перебирая книги на столе Гриши. – Ученые книжки только для важности читают... Давно ли резинку жевали и с сапожничьими детьми дрались, а теперь «История цивилизации Европы» началась.

В сущности, Любочка завидовала Грише, особенно когда он начинал о чем-нибудь спорить с отцом. Откуда он успел набраться разных умных слов? О, она перечитает все умные книжки и тоже будет спорить. Непременно... Только вот ужасно спать хочется по вечерам, когда Гриша читает. Ну, да ничего, до шестого класса еще далеко.

У гимназистов уже сложилось товарищество, переходившее из класса в класс. На первом плане стоял Володя Кубов, не потому, что он был первым учеником, а потому, что отличался большой начитанностью и умением спорить. Память у попovichа была громадная. Он мог цитировать целыми страницами наизусть. Городские гимназисты, как Сеня Заливкин или Миша Гребнев, могли только удивляться. Впрочем, это превосходство не переходило за границы ученических табелей. Гимназисты теперь часто собирались у Печаткиных, где чувствовали себя совсем свободно. У Клепиковых все как-то стеснялись. Эти собрания отличались большим шумом, потому что вечно завязывались горячие споры.

– А всё это попович затевает, – ворчала Марфа Даниловна. – Наташит каких-то толстых книг... Ну, и дерут горло.

– Ну, пусть их... – добродушно отстаивал Петр Афонасьевич. – Молодо – зелено... Перемельется – мука будет.

– То-то вот, как на мельнице.

В этих дебатах принимали участие даже дедушка Яков Семеныч и монастырский дьякон. Последний отличался трогательным невежеством. Он был, например, глубоко уверен, что «бобер» пьет хвостом, что стекло делают из соломы и т. п. Впрочем, он ухитрялся иногда подшутить над Яковом Семенычем насчет гимназистов.

– Они, эти самые гимназеры, и человека от обезьяны производят, – уверял дьякон совершенно серьезно.

Яков Семеныч почему-то каждый раз ужасно сердился, сердился до того, что краснел и начинал кашлять. Всё это выходило очень смешно.

– Терпеть я не могу эту самую обезьяну! – бранился старик. – Я их, обезьян, посмотрелся... тьфу! ты мне лучше и не говори о них, дьякон. Мерзость... тьфу! тьфу!..

Монастырский дьякон хохотал во всё горло, когда Яков Семеныч начинал плевать, а потом пробовал припомнить что-нибудь из семинарского курса философии, но в его памяти сохранились только обрывки отдельных фраз. Он спорил громче всех и каждый раз закрывал глаза, когда хотел поразить противников каким-нибудь философским определением или семинарской «хрией».

– Нет, ты постой... подожди... – повторял он, напрягая свои умственные способности. – Постой...

Затем дьякон закрывал глаза и как-то залпом выстреливал:

– Фихте, замкнувшись в свое я, разорвал всякую связь с действительностью... Что, каково? Ну-ка? А то: поцелуй есть уничтожение количественной разности между субъективным объектом и объективным субъектом... тьфу! Совсем не то... Постой, я тебя по Канту шарахну... Про антимонии слышал? То-то вот и есть...

В трудных случаях, когда стороны слишком уже горячились и даже начинали говорить дерзости, обращались за разрешением к Григорию Иванычу, который должен был знать всё.

– Ну-ка, Григорий Иваныч, утри нос молокососам! – подстрекал дьякон, хлопая Печаткина своей десницей по плечу. – Я-то немножко того... ну, забыл. Отец ректор прямо сказал: «Ты, Семен Истолбин, древоголов в науках»... У нас ректор был ученый...

Григорий Иваныч, к общему удивлению, пасовал по части философии и как-то даже смущался. Это сердило и Якова Семеныча и монастырского дьякона, которые были уверены, что он просто не хочет поддержать их сторону. В сущности Григорий Иваныч был очень рад, что молодые люди занимаются умными вопросами и читают ученые книги. Положим, понимали они из пятого в десятое и толковали прочитанное вкривь и вкось, но это ничего не значило. Молодое пиво бродило...

Одним словом, всё шло хорошо, по-молодому, пока неожиданно не налетела гроза. Попович Кубов нагрубил в чем-то инспектору, и разыгралась гимназическая история. Генерал «Немне» потребовал, чтобы Кубов извинился пред инспектором на глазах у всего класса; но попович не захотел. Старик-директор топал на него ногами, кричал – ничего не помогало. В этой истории приняли участие все; Григорий Иваныч, Петр Афонасьевич, Яков Семеныч и даже монастырский дьякон. Всякий уговаривал упрямого поповича по-своему, но тот остался при своем.

– Главное, в университет не попадешь, – уговаривал Печаткин.

– Что же делать, не всем в университете кончать, – возражал Кубов. – Я пойду в народные учителя...

– Быть учителем хорошее дело, – соглашался Печаткин, – да только гордость свою нужно уметь смирять... Ведь всё дело, Володя, в гордости. Не хочешь покориться...

– Не хочу...

– За гордость пострадал сатана и бысть свержен в бездну, – доказывал дьякон, размахивая руками.

Так Кубов и оставил гимназию, что огорчило всех знакомых. Марфа Даниловна сразу переменяла свое обращение с исключенным гимназистом. Раньше она всегда ставила Кубова в пример другим, а теперь точно не замечала его. Это особенно огорчало Катю. Она отлично помнила, как Володя Кубов пришел к ним в первый раз не гимназистом, а в штатском платье. Он точно сразу сделался чужим, хотя гимназисты всячески и старались показать ему свое внимание. И сам Кубов это чувствовал, но не унывал и старался казаться веселым, точно ничего особенного не случилось.

Всех лучше и проще отнесся к Кубову монастырский дьякон. Он потрепал его по плечу своей медвежьей лапой и с грубоватой ласковостью сказал:

– Вот что, Володька... Ты того, надурил, после покаешься, а теперь пока переезжай ко мне. Отец-то не будет тебе денег посылать, а жить надо... Ну, пока что, живи у меня. Моя дьяконица хоть и сердитая, а кусков не будет считать. А я тебя, брат, на гласы выучу петь... В псаломщики определишься.

Хотя на гласы петь Кубов и не стал, но поселился пока у дьякона. Они приходились какими-то дальними родственниками.

Любочка и Катя не могли хорошенько понять всей этой истории, но почему-то прониклись особым уважением к Кубову, который в их глазах сделался совсем большим человеком, не то, что другие гимназисты, остававшиеся по-прежнему просто мальчиками.

XII

Дела у Печаткиных шли «ни шатко, ни валко, ни на сторону». Григорий Иваныч зарабатывал гораздо больше, чем когда-нибудь раньше, но явились и лишние расходы, а главное, проявилось в полной форме неумение жить. Зарабатывая втрое больше, чем Клепиков, Григорий Иваныч постоянно жил «в обрез» и не раз перехватывал у Петра Афонасьевича мелочью. В квартире Печаткиных теперь появлялись каждый день новые лица: какие-то забвенные старушки, которых обижали дальние родственники, сорившиеся наследники, запутавшиеся в делах городские мещане, мужики из окрестных деревень, не понимавшие ничего в делах вдовы, малолетние сироты и т. п. Печаткин не отказывался ни от одного чистого дела – это было его принципом. Иногда приходилось ему самому вносить и судебные пошлины и оплачивать гербовые марки, а погашение этих расходов предполагалось потом, когда дело будет выиграно. Не раз случалось так, что даровой клиент, выиграв процесс, скромно исчезал.

– Вот ты всегда так, Григорий Иваныч, – корила Анна Николаевна. – Тебя и клиенты не будут уважать, зачем дешево берешь. Вон другие адвокаты на своих лошадях ездят, дома наживают.

– Что же, всякому свое, Аня. Я не умею драться с живого и мертвого... Такой уж характер. Ты могла бы упрекать меня, если бы я кого-нибудь обманул, а если меня надувают, так это еще ничего... Я честно исполняю свой долг. Да...

– Толку-то от этого мало, Григорий Иваныч. Другие-то...

– Женщина, перестань... Пренебреги.

В сущности, Анна Николаевна мало знала положение дел мужа, как это было и раньше. Григорий Иваныч не любил, чтобы его расспрашивали, и всё делал по-своему. Он всегда был доволен настоящим, а теперь в особенности. Всего откровеннее Печаткин был с посторонними, как дедушка Яков Семеныч или Володя Кубов. Последний теперь заходил довольно часто и подолгу разговаривал с Григорием Иванычем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.